
Александра Адаменко
Леди Алиса
Лавка чудес
и северный детектив
Книга вторая

Александра Адаменко

Леди Алиса. Лавка чудес и северный детектив

https://litres.ru/74732807
SelfPub; 2026

Аннотация

Говорят, зима — время чудес. Но в Ворне чудеса почему-то начинаются с эпидемии, разбитых окон и попытки закрыть мою лавку.

Я всего лишь хотела открыть небольшое дело, продавать полезные вещи и помогать людям пережить суровую зиму, — что может пойти не так?

Оказалось, практически всё.

Сначала торговая гильдия решила, что я хорошо устроилась. Потом кто-то отравил городские колодцы, а виноватой назначили меня. Теперь у меня есть толпа разъярённых горожан, больные дети и городской совет, который считает, что проблема исчезнет сама собой.

Мой суровый герцог предпочитает общаться короткими письмами, раздавать распоряжения и смотреть на окружающих так, будто лично заморозил весь север.

И тут выясняется, что расследование — не единственная проблема. Потому что у капитана Лорна слишком обаятельная

улыбка, а у Валериана совершенно отсутствует понятие о здоровой ревности.

Что ж, придётся спасать город и разбираться с чувствами. Всё одновременно. Как обычно.

Вторая книга цикла «Леди Алиса».

Содержание

Глава 1. «Мыло дегтярное, 2 гроша» 5
Глава 2. «Варежки на тёплом камне» 26
Глава 3. «Подряд на портянки» 46
Глава 4. «Мыло рыбное, неудачное» 62
Глава 5. «Камень для бабушки» 77
Глава 6. «Настойка от живота» 95
Конец ознакомительного фрагмента. 98

Александра Адаменко
Леди Алиса. Лавка чудес и северный детектив

Глава 1. «Мыло дегтярное, 2 гроша»

Клом: «Аренда бондарни — 3 марки в месяц. Грабёж. Записал красным».

Бондарня вдовы Агаты Рёйш стояла на углу рыночной площади и Кожевенной улицы и пахла так, как пахнут только старые бондарни: дубовой стружкой, мокрым железом обручей, остывшим дёгтем и немножко — мышами.

Алиса стояла посреди неё, засунув озябшие руки в рукава, и пыталась представить себе лавку.

Получалось плохо.

Помещение было длинным и низким, с закопчёнными балками под потолком, с которых свисали ржавые крюки. Вдоль одной стены тянулся грубый верстак, изрезанный и прожжённый, вдоль другой громоздились рассохшиеся бочки без днищ — уродливые деревянные скелеты, которые вдова Рёйш наотрез отказалась выбрасывать: «Это мужнина

работа, барышня. Сорок лет он их собирал. Пусть стоят». В дальнем углу горбилась печь — огромная, приземистая, сложенная из грубого бурого кирпича, с широким устьем, в котором когда-то разогревали клёпку. Окна были маленькими, мутными, затянутыми паутиной, и пропускали ровно столько света, чтобы можно было разглядеть, сколько здесь грязи.

Грязи было много.

— Ну? — спросила вдова Рёйш, маленькая, сухонькая, похожая на воробья в чёрном чепце. — Берёте?

— Сколько? — спросила Алиса.

— Три марки в месяц. И дрова ваши. И бочки не трогать. И кошку не гонять — она тут живёт.

Из-за ближайшей бочки высунулась огромная полосатая кошка, посмотрела на Алису жёлтыми глазами с откровенным презрением и снова скрылась.

Три марки, подумала Алиса. Матильда получает три марки в месяц. Целую марку стоит брусок мыла на рынке. А тут — три марки за сарай с пауками, бочками и кошкой, которая смотрит на тебя, как на таракана.

Она обернулась.

Матильда стояла у двери, обхватив себя руками, и разглядывала паутину на потолке с выражением глубокого ужаса. Гуннар стоял рядом, загородив собой половину дверного проёма, и смотрел на печь — внимательно, оценивающе, как смотрят на позицию, которую придётся держать. За их спинами, на улице, топтались лошади, запряжённые в телегу,

на которой громоздились ящики с мылом, мешки с золой, горшки с жиром, два котла и одна большая плетёная корзина, накрытая старым одеялом.

Корзина сердито шевелилась.

— Беру, — сказала Алиса.

Вдова Рёйш просияла, как начищенный медяк.

— Вот и славно, барышня! Вот и ладненько! Деньги — вперёд, за два месяца. Ключ — вот. — Она сунула Алисе в руку тяжёлый железный ключ, тёплый от её ладони. — А я пойду. Мне к сестре в Ольховую слободу. Если что — я там.

Она засеменила к двери, протиснулась мимо Гуннара — и уже на улице, обернувшись, крикнула:

— Барышня! А правда, что вы того... Хольта-то в кандалы? Своими руками?

— Не своими, — сказала Алиса. — Его светлости.

— Ну всё равно! — Вдова Рёйш хихикнула, совсем по-девчоночьи. — Сорок лет его рожу терпела, как он мимо моего окна в свой дом на Ткацкой ходил. Нос задирал. А теперь — в кандалах! Ой, барышня, дай вам Пламя здоровья!

И убежала.

Алиса стояла с ключом в руке. Посмотрела на Гуннара.

— Вот видите, — сказала она. — У нас здесь уже есть доброжелатели.

— Одна, — сказал Гуннар. — Старая. И глухая на одно ухо.

— Это начало.

Корзину внесли последней.

Гуннар поставил её на верстак — осторожно, будто внутри было что-то хрупкое, — и откинул одеяло.

В корзине, свернувшись клубком вокруг большого бурого кирпича, лежал Клом.

Он был бледным. Нет — не бледным: прозрачным. Почти таким же прозрачным, каким Алиса увидела его впервые, весной, в мансарде. Сквозь его тонкие руки, обхватившие кирпич, просвечивали прутья корзины. Уши обвисли. Жёлтые глаза — обычно яркие, как два фонаря, — светились тускло, словно в них не хватало масла.

— Клом, — тихо позвала Алиса.

Кладовик приоткрыл один глаз.

— Приехали? — спросил он слабым скрипучим шёпотом.

— Приехали.

— Где?

— В Ворне. В лавке. В нашей лавке.

Клом медленно, с усилием, приподнял голову над краем корзины. Огляделся. Паутина. Бочки-скелеты. Грязные окна. Кошка за бочкой, которая, завидев его, выгнула спину и зашипела.

Клом посмотрел на кошку. Кошка посмотрела на Клома.

— Хозяйка, — сказал кладовик тоном умирающего, — это не лавка. Это склеп. С кошкой.

— Это будет лавка, — сказала Алиса. — Через неделю.

Вот увидишь.

— Я не доживу до недели, — пожаловался Клом и снова уронил голову на кирпич.

Идея с кирпичом была его собственная.

Две недели назад, когда Алиса объявила, что поедет в Ворн открывать лавку, Клом три дня не разговаривал. Он сидел на печи с корабликами, отвернувшись к стене, и только время от времени шмыгал носом. Кладовик не может покинуть свой дом — это был закон, старый, как сами дома. Корень не уходит от дерева. За воротами Грантхольма Клом начинал таять — сначала медленно, потом быстрее. Однажды, лет сорок назад, он попробовал проводить старую герцогиню до часовни в Нижних Порогах — и вернулся через час, прозрачный, как стёклышко, и неделю отлёживался в кладовой номер три.

А лавка в Ворне — это двенадцать вёрст. Полдня на телеге. И недели, месяцы без дома.

На четвёртый день Клом слез с печи, подошёл к Алисе и сказал:

— Кирпич.

— Что — кирпич?

— Из этой печи. — Он ткнул длинным пальцем в изразцы с корабликами. — Не изразец — нет, изразцы трогать нельзя, это красота. А кирпич изнутри. Из кладки. Дед Аксель, когда колено перекладывал, один старый кирпич в сторону отложил — треснутый, сказал, негодный. А я его подобрал.

Он двести лет в этой печи стоял. Он тёплый. Он помнит. В нём — дом.

— И что?

— А то, — сказал Клом, и уши его медленно поднялись, — что, если этот кирпич вмуровать в печь в лавке, — может, у меня там будет... ну... привязка. Не дом. Но кусочек дома. Как отросток от корня. — Он помолчал. — Я не знаю, хозяйка. Никто никогда так не делал. Кладовики не путешествуют. Но вы ведь тоже — кто никогда так не делал. Мыло из золы. Печи на двадцать часов. Пустышка — управляющая. — Он вздохнул. — Может, и я попробую.

И вот теперь он лежал в корзине, обнимая треснутый двухсотлетний кирпич, и таял.

Гуннар молча снял куртку. Засучил единственный рукав. Подошёл к печи в углу бондарни, присел на корточки, заглянул в устье.

— Кладка старая, — сказал он. — Глина хорошая. Можно выбить один кирпич сбоку, у самой топки. И твой поставить. На свежую глину.

Через час кирпич из Грантхольма стоял в печи вдовы Рёйш. Бурый среди бурых, ничем не отличимый — только трещина наискосок, как морщинка. Гуннар замазал швы. Алиса развела огонь. Маленький, осторожный — чтобы глина схватилась.

А потом она положила ладони на печь — рядом с грантхольмским кирпичом — и дала ей немного тепла. Своего.

Того, которое умела.

Клом в корзине вздрогнул.

Медленно, с трудом, он выбрался из-под одеяла. Перелез через край корзины. Спустился с верстака по ножке, как неуклюжий паук. Проковылял по грязному полу к печи. Сел рядом с треснутым кирпичом. Прислонился к нему спиной. Закрыл глаза.

Все молчали. Даже кошка за бочкой.

Прошла минута. Две. Пять.

— Ну? — не выдержала Матильда.

Клом открыл глаза.

— Пахнет, — сказал он хрипло. — Хозяйка. Он пахнет. Корабликами. Пирогами. Бертой. Домом. — Он поднял руку к огню.

Рука всё ещё была прозрачной. Но уже не такой, как в корзине. Сквозь неё больше не просвечивал огонь — только тень от огня.

— Жить буду, — сказал Клом. — Плохо. Но буду.

Он помолчал и добавил совсем другим голосом — сварливым, деловым, привычным:

— Три марки в месяц за этот склеп! Грабёж! Хозяйка, вы опять переплатили. Вдова Рёйш — она же хитрая, как лиса. Я по глазам видел. Записываю красным.

Алиса рассмеялась так, что кошка за бочкой подпрыгнула.

* * *

Через неделю бондарню было не узнать.

Паутину сняли. Окна отмыли — щёлоком, потом уксусом, потом снова щёлоком, — и оказалось, что стёкла в них не мутные, а просто грязные, и что сквозь них видна рыночная площадь, собор с медным языком пламени на шпиле и крепость на высоком берегу. Пол выскоблили до светлого дерева. Стены — побелили. Бочки-скелеты вдовы Рёйш Матильда, подумав, приспособила под стеллажи: положила на обручи доски, и на этих досках теперь стояли ровными рядами бруски мыла, завёрнутые в холстину и перевязанные бечёвкой. Простое — в серую холстину. С ромашкой — в жёлтую. С мятой — в зелёную. Дегтярное, для солдат и мастеровых, — в бурую.

Верстак отскоблили и превратили в прилавок. Под прилавком устроили закуток — для Клома. Клом обставил его по своему вкусу: подстилка из старого Бертиного одеяла, огарок свечи в плошке, глиняная кружка для молока, книжечка, грифель. И табличка, нацарапанная на щепке: «Касса. Посторонним не входить».

Печь в углу протопили, переложили дымоход — Гуннар лазил на крышу, как в Грантхольме, — и теперь она грела. Не двадцать часов — двенадцать. Но и это было больше, чем у любой печи в Ворне.

А в задней комнате, за дощатой перегородкой, стояли два котла. Маленькая мыльня. Чтобы варить на месте — то, что быстро кончается.

Наверху, по скрипучей лестнице, были две крошечные

комнатки под самой крышей. В одной поселилась Алиса. В другой — Матильда. Гуннар спал внизу, на лавке у двери, — как всегда, у двери.

Вывеску рисовала Матильда.

Она три дня сидела над доской с кистью и красками, которые Алиса выменяла у маляра на четыре бруска мыла, и высунув от усердия кончик языка. Вывеска получилась немного кривой, немного наивной и бесконечно трогательной: на синем поле — белый домик с красной крышей, из трубы идёт кудрявый дымок, а в окошке — жёлтый огонёк. И надпись — большими, неровными буквами, которые Матильда выучила только этой осенью в часовне у брата Ансельма:

«ТЁПЛЫЙ ДОМЪ».

С твёрдым знаком на конце, потому что брат Ансельм учил по старым книгам.

Гуннар прибил вывеску над дверью. Отошёл. Посмотрел. Ничего не сказал. Но Алиса видела, как дрогнул уголок его сурового рта.

— Красиво, — сказала Алиса Матильде. — Тильда, это очень красиво.

— Правда? — Матильда покраснела до корней своих белых волос. — А буквы кривые...

— Буквы — живые, — сказала Алиса. — Это лучше, чем прямые.

Первой посетительницей лавки «Тёплый домъ» была Хильда Мельц.

Она ввалилась в дверь в первое же утро — огромная, красная, в необъятном синем платье, — оглядела стеллажи из бочек, прилавок, белые стены, печь, полосатую кошку на подоконнике — и всплеснула руками-окороками.

— Ох ты ж, батюшки! — пропела она. — Да тут прямо как у господ! Чистота! Бело! А пахнет-то, пахнет! Как в бане у моей бабки!

Она бухнулась на лавку у печи, которая жалобно скрипнула.

— Ну, барышня, рассказывайте. Я ведь вам всё говорила — без патента не дадут. Мой лоток вон закрыли. Двадцать крон штрафа! Двадцать! Я столько за всю жизнь в руках не держала! А они...

— Хильда, — сказала Алиса, — ваш штраф я заплачу.

Хильда осеклась.

— Чего?

— Заплачу. Из своих. Вы закрылись из-за меня — значит, это мой долг.

Хильда смотрела на неё, открыв рот. Её три подбородка медленно задрожали.

— Барышня, — сказала она сипло. — Да вы... да как же...

Под прилавком кто-то громко, демонстративно кашлянул. Потом ещё раз. Потом заскрипел грифель — яростно, с нажимом, будто его владелец пытался проткнуть бумагу насквозь.

Хильда, не видевшая Клома, покосилась на прилавок с по-

дозрением.

— Мыши у вас, что ли?

— Казначей, — сказала Алиса. — Он не одобряет.

* * *

Корвин Дросс пришёл на третий день.

Алиса знала, что он придёт. Ждала. И всё равно, когда дверь распахнулась и колокольчик над ней — медный, купленный на рынке за два гроша — звякнул тревожно и пронзительно, у неё ёкнуло сердце.

Он вошёл не один. С ним были двое — те же самые здоровяки в зелёных кафтанах с дубинками, которых Алиса видела весной на рынке. И мастер Пельтц — тощий, с медной бляхой и палкой с набалдашником. Пельтц держался на полшага позади и чуть сбоку, как держится собака у ноги хозяина.

А хозяин...

Корвину Дроссу было за шестьдесят. Он был невысок, плотен и широк, как дубовый пень. Лицо — красное, обветренное, с крупным носом в синих прожилках и маленькими глазками, глубоко посаженными под кустистыми седыми бровями. Глазки были умные. Очень умные. Хитрые, весёлые, цепкие — глазки старого лиса, который сорок лет таскал кур из чужих курятников и ни разу не попался. Борода — белая, густая, широкая, подстриженная лопатой, — лежала на груди поверх тёмно-зелёного бархатного кафтана, расшитого золотой нитью. На поясе — тяжёлая цепь с гильдейской

бляхой: весы и ключ, но не медные, а золотые. На пальцах — перстни, и не два, как у Хольта, а пять.

Он остановился посреди лавки. Огляделся. Неторопливо, со вкусом, с выражением покупателя, который пришёл на ярмарку и ещё не решил, что купит.

Посмотрел на стеллажи из бочек. На бруски в цветной холстине. На прилавок. На вывеску, которая была видна через окно. На печь.

На Алису — последней.

— Так-так, — сказал он. Голос был низкий, густой, раскатистый, как у дьякона в соборе. — Так-так-так. Значит, вот она какая. Барышня Лейн. Пустышка из Грантхольма. Которая Хольта в кандалы засадила.

— Не я, — сказала Алиса. — Его светлость.

— Его светлость, — согласился Дросс. — Конечно, его светлость. Его светлость в кабинете сидел, книжки читал. А засадила — ты. Я знаю. Весь Ворн знает. — Он прищурился, и в его маленьких глазках мелькнуло что-то, похожее на уважение. Или на насмешку. Или на то и другое сразу. — Хольт мне двадцать лет поперёк горла стоял. Жадный был, скользкий. Думал, он самый умный. А ты его — раз! — и в кандалы. За одно лето. — Он покачал головой. — Ловко. Очень ловко.

— Спасибо, — сказала Алиса.

— Это не похвала, — сказал Дросс, и голос его чуть изменился. Не стал жёстче — просто стал другим. Деловым.

— Это предупреждение. Я — не Хольт.

Он прошёлся по лавке. Медленно, вразвалку, заложив руки с перстнями за спину. Остановился у стеллажа. Взял брусок мыла с ромашкой. Развернул холстину. Понюхал.

— Хорошее, — сказал он. — Очень хорошее. Лучше заморского. Хильда Мельц на рынке за неделю продала сто брусков. По марке. Моим поставщикам — тем, что привозят мыло из Солмара по три марки, — ни одного брусочка за ту неделю не продали. Ни одного. Они ко мне приходили. Жаловались.

Он положил брусок обратно. Аккуратно. Даже завернул.

— Барышня, — сказал он, поворачиваясь к ней, — ты знаешь, что такое Гильдия торговцев?

— Знаю, — сказала Алиса. — Монополия на торговлю в городе. По хартии короля. Каждый, кто торгует, платит взнос и получает патент.

— Умница. — Дросс улыбнулся. Улыбка у него была широкой, белозубой и совершенно не тёплой. — А знаешь, зачем это нужно?

— Чтобы гильдия получала деньги.

— Чтобы был порядок, — поправил Дросс. — Чтобы на рынке не толкались сто торговок с одним и тем же товаром. Чтобы цены не прыгали. Чтобы купец, который везёт мыло из Солмара через полкоролевства, — по плохим дорогам, через разбойников, через пошлины, — знал, что его товар здесь купят. По честной цене. А не так, что приедет какая-то

пустышка из Грантхольма, наварит в котле из свиного сала с золой и будет продавать втрое дешевле.

— Мыло из Солмара, — сказала Алиса, — стоит три марки. Брусок. Месячное жалованье прачки. Вы знаете, сколько прачек в Ворне могут позволить себе такое мыло?

— Это не моё дело.

— А сколько детей в Нижнем квартале никогда в жизни не мылись мылом?

— И это не моё дело, — сказал Дросс спокойно. — Моё дело — порядок. Торговый. А дети пусть моются в реке. Как их родители. Как деды. Как все.

Алиса смотрела на него. Он смотрел на неё. Лис и... кто? Курица? Нет. Не курица.

— Сколько? — спросила она.

Дросс снова улыбнулся.

— Вот это деловой разговор, — сказал он одобрительно. — Мастер Пельтц, огласите.

Пельтц выступил вперёд. Достал из-за пазухи бумагу. Развернул. Откашлялся.

— Патент на мелкую торговлю в пределах городских стен, — прочитал он скрипучим голосом, — десять крон в год. Вступительный взнос в Гильдию — пять крон. Штраф за незаконную торговлю через лоток Хильды Мельц в течение лета и осени сего года — двадцать крон. Пеня за нарушение порядка и беспокойство гильдии — пять крон. Итого — сорок крон.

— И рекомендации, — добавил Дросс. — Двух полноправных членов Гильдии. Это не деньги, это честь. Без рекомендаций патент не выдаётся.

— А кто даст мне рекомендации? — спросила Алиса.

Дросс развёл руками с перстнями. Широко, огорчённо, как разводят руками над чужой бедой.

— А вот этого, барышня, я не знаю, — сказал он. — Это уж ты сама ищи. Члены Гильдии — люди занятые. Солидные. Им недосуг рекомендовать кого попало.

Значит, никто не даст, перевела Алиса. Никто. Ни за какие деньги. Потому что Дросс скажет — не давать.

Сорок крон. И невозможные рекомендации.

У неё было шестьдесят две кроны — всё, что осталось от первой осенней выручки после крыши, зерна и жернова. Треть из этого — поместью, по договору. Сорок — это почти всё. И даже если заплатить — патента не будет. Потому что рекомендаций не будет.

Это была не цена. Это была стена.

Под прилавком что-то зашуршало.

Потом — громко, отчётливо, на всю лавку — раздался скрипучий, возмущённый, до глубины души оскорблённый голос:

— Сорок крон?! СОРОК?! Да за сорок крон я саму вашу гильдию куплю! Вместе с Дроссом! И с его бородой! И с его пятью перстнями! И с этим тощим, с палкой! И ещё сдачи попрошу!

Повисла тишина.

Двое здоровяков в зелёном переглянулись. Мастер Пельтц побледнел и быстро перекрестился знаком Пламени. Матильда, стоявшая у двери в мыльню, зажала рот обеими руками. Гуннар у входной двери даже не шевельнулся — только глаза его стали очень-очень довольными.

А Корвин Дросс медленно повернулся к прилавку.

— Это кто? — спросил он.

Алиса посмотрела на прилавок. Потом на Дросса.

Дросс смотрел на прилавок — и не видел. Это было ясно по его лицу. Он видел только доски, холстину, кассовый ящик. А Клом, маленький, полупрозрачный, сидел прямо на краю прилавка, уперев длинные руки в бока, топорща уши, и смотрел Дроссу прямо в глаза — с яростью, на которую способен только бухгалтер, увидевший грабительскую смету.

— Мыши, — сказала Алиса. — У нас тут мыши. Очень крупные. Очень сердитые.

Дросс прищурился. Посмотрел на прилавок ещё раз. Долго. Подозрительно.

— Говорящие мыши? — спросил он.

— Это Ворн, мастер Дросс, — сказала Алиса невинно. — Тут чего только не бывает. Вы сами знаете.

Дросс молчал. Его маленькие умные глазки перебегали с прилавка на Алису, с Алисы на прилавок. Потом — к удивлению всех — он вдруг рассмеялся. Громко, раскатисто, от души, запрокинув голову так, что белая борода задралась

вверх.

— Ох, барышня, — сказал он, отсмеявшись и вытирая глаза. — Ох, барышня. А ты мне нравишься. Честно. Жаль, что ты мне поперёк дороги встала. — Он повернулся к двери. — Сорок крон. И две рекомендации. До Нового года. А нет — после Нового года мастер Пельтц придёт с людьми. И конфискует всё, что на полках. И котлы. И, может, печку. Печку тоже можно конфисковать. Я узнавал.

Он пошёл к выходу. На пороге остановился. Обернулся.

— И мышей своих, барышня, корми получше, — сказал он. — А то они у тебя какие-то злые.

Колокольчик над дверью звякнул.

Дросс ушёл.

Клом сидел на прилавке, всё ещё уперев руки в бока, и тяжело дышал. От возмущения он, казалось, стал ещё прозрачнее.

— Хозяйка, — сказал он, — он меня мышью назвал.

— Я тебя мышью назвала, — сказала Алиса. — Чтобы он не догадался.

— Он и так догадался, — мрачно сказал Клом. — Он хитрый. Старый лис. Он не поверил ни на грош.

— Знаю.

Матильда отлепилась от двери.

— Госпожа, — сказала она дрожащим голосом. — А что мы будем делать? Сорок крон... Это ведь почти всё, что у нас

есть.

Алиса подошла к окну. За стеклом была рыночная площадь — серая, слякотная, ноябрьская. Торговки у лотков. Телеги. Собаки. Прохожие, кутающиеся в плащи. Над площадью, на высоком берегу, — крепость с синим флагом. Белая ледяная звезда на синем поле трепетала на ветру.

— Не знаю, — сказала она честно. — Пока не знаю.

Она постояла у окна. Потом повернулась.

— Но знаю, кто может знать, — сказала она.

* * *

Письмо она писала вечером.

Наверху, в крошечной комнатке под самой крышей. При свече. За столом, который Гуннар сколотил из досок от бочки вдовы Рёйш. В комнате было холодно — печь внизу, а наверх тепло поднималось плохо. Алиса сидела, закутавшись в шаль, и смотрела на чистый лист.

Это было второе письмо по договору. Раз в месяц. Лично. Через гарнизон Ворна.

Первое она написала в октябре — пятнадцать строк о крыше, о продухах, о мельнице, о школе брата Ансельма. С той самой припиской в конце, которую не стала зачёркивать. Ответа не было — да и не могло ещё быть, гонец с перевала шёл неделю туда, неделю обратно, а у герцога, наверное, были дела поважнее.

Нет, не так. Ответ был. Первое письмо — четыре строки, «солдаты перестали чесаться», — пришло до её письма. А

на её письмо ответа ещё не было.

Она не ждала. Совсем не ждала. Просто иногда, проходя мимо крепости, смотрела на ворота — не идёт ли гонец.

Алиса обмакнула перо в чернила.

Писать надо было по делу. Это был договор. Деловое письмо. Отчёт управляющей владельцу поместья.

Она писала долго. Зачёркивала. Переписывала. Наконец — к полуночи — получилось так:

«Ваша светлость.

Отчёт за ноябрь.

Грантхольм. Крыша северного крыла держит. Продухи работают — плесени в северных комнатах нет. Мастер Бертольд прислал письмо, спрашивает, не сделать ли продухи и в восточном крыле. Я ответила — без вашего разрешения восточное крыло не трогаем. Амбар полон наполовину. Мельница мелет. Мельник Отто приносит десятину каждую пятницу; Клом встречает его у амбара, оба получают от этого необъяснимое удовольствие. Школа брата Ансельма — двадцать два ученика. Мыльня в Грантхольме — Эльке и Хедвиг, двести брусков в неделю. Берта следит. Йорн — конюх, исправен, ни разу не опоздал. Его сестра Лизхен больше не кашляет.

Ворн. Открыла лавку на рыночной площади, в бывшей бондарне вдовы Рёйш. Аренда — три марки в месяц. Клом считает, что это грабёж. Гильдия торговцев, в лице мастера Корвина Дросса, требует сорок крон за патент и две ре-

комендации от членов гильдии, которых мне никто не даст. Срок — до Нового года. После — конфискация. Мастер Дросс уточнил, что конфисковать можно и печку.

Цены на рынке: говяжий жир — три гроша фунт, свиной — четыре, зола — даром, если сама собираешь. Мыло солмарское — три марки. Наше — марка.

Армейские поставки: отправлены две партии, третья в пути. Подробности — в отдельном листе, у капитана Лорна.

Клом передаёт почтительный поклон и просит уведомить вас, что Дросс назвал его мышью.

А. Лейн».

Она перечитала. Сухо. Деловито. Как надо.

Потом посмотрела на свечу. На тёмное окно, за которым падал первый в этом году ворнский снег — мелкий, редкий, тихо оседавший на подоконнике.

И внизу, после подписи, сама того не желая, приписала:

«Здесь очень холодно. Печь не греет наверх. Я почти скучаю по вашему инею — с ним хотя бы было понятно, откуда холод».

Перечитала. Покраснела до ушей. Схватила перо и зачеркнула. Одной чертой. Решительно.

Посмотрела.

Зачёркнутое читалось. Всё. До последнего слова.

Можно было переписать письмо заново. На чистом листе. Без приписки.

Она посмотрела на часы — часов не было. Посмотрела на

свечу — свеча догорала. Посмотрела на чистые листы — их оставалось два, бумага в Ворне стоила грош за лист, а Клом выдавал её поштучно и под расписку.

— Ладно, — сказала Алиса вслух. — Пусть.

Она сложила письмо. Запечатала каплей воска. Подумала — и прижала к воску не палец, как раньше, а головку медного ключа. Еловую ветку.

Отпечаток получился чёткий. Маленькая ёлочка в красном воске.

— Пусть, — повторила она шёпотом и задула свечу.

Внизу, у печи, у треснутого грантхольмского кирпича, Клом записывал в свою книжечку при свете тлеющих углей:

«Письмо — одно. Бумаги — один лист. Чернил — немного. Воска — капля. Зачёркнуто — одна строка.

Прочитать её можно.

Хозяйка знает».

Глава 2. «Варежки на тёплом камне»

Клом: «Продано варежек — 14. Подарено варежек — 9. Хозяйка, вы разорите нас добротой».

Тёплые камни придумала Матильда.

Вернее, не придумала — вспомнила. Это было в конце ноября, в тот вечер, когда мороз впервые ударил по-настоящему и окна в лавке за ночь затянуло ледяными папоротниками. Алиса сидела наверху, в своей каморке под крышей, завернувшись в два одеяла и шаль, и всё равно не могла согреться. Печь внизу честно грела двенадцать часов — но тепло, как назло, оставалось внизу, у прилавка и у грантхольмского кирпича, а наверх поднималось нехотя, по крохам.

Матильда постучала в дверь, вошла и молча сунула Алисе под одеяло что-то тяжёлое, гладкое, завёрнутое в старую фланель.

Камень. Круглый речной голыш размером с два кулака. Горячий — не обжигающий, а именно горячий, ровно и глубоко, как бок хорошо протопленной печи.

— Это что? — спросила Алиса, прижимая камень к животу и чувствуя, как тепло растекается по всему телу.

— Камень, — сказала Матильда. — Мама так делает. Зимой. Берёт голыш с озера, кладёт в печку на вечер, потом в

тряпку — и в постель. Только у мамы он к полуночи остывает. А я... — Она смутилась. — А я его подержала. Как вы печку держали. Как мыло. Чтобы тепло не убегало. Он теперь до утра будет горячий. Я на себе проверила. Вчера.

Алиса долго смотрела на неё. Потом на камень.

— Тильда, — сказала она, — а сколько на озере голышей?

Матильда моргнула.

— Много. Тыщи.

— А сколько в Ворне людей, которые мёрзнут по ночам?

Матильда снова моргнула. И вдруг поняла. Её светлые глаза стали круглыми, как у совы.

— Ой, — сказала она.

Так в лавке «Тёплый домъ» появились тёплые камни.

Голыши возили с озера — Гуннар раз в неделю ездил в Грантхольм на телеге и возвращался с мешком гладких серых камней, отобранных Пимом и Ганной на берегу. «Пим говорит, что самые лучшие — плоские, — передавал Гуннар без выражения. — Они лучше лежат. А Ганна говорит, что самые лучшие — круглые, их удобнее обнимать. Они подрались. Я привёз и тех, и других».

Камни мыли. Потом калили в печи. Потом Матильда — она оказалась в этом лучше Алисы, терпеливее и спокойнее — брала каждый в ладони и «держала». Минуту. Две. Чтобы тепло легло ровно, глубоко, во всю толщу камня, и не убегало. Потом камень заворачивали во фланель — серую,

чистую, с вышитой Матильдой в уголке маленькой красной крышей. И он оставался горячим до утра.

Камень стоил два гроша. Если принести свой обратно — его снова калили за один грош.

Ещё в лавке были стельки. Валяные из грубой овечьей шерсти — их валяли в Нижних Порогах, Марта Брам с соседками, по вечерам, в тёплой детской у печи с корабликами. Стельки клали в сапоги, и ноги не мёрзли даже на самом лютом ветру. Гуннар испытал на себе: простоял полдня на крепостной стене с часовыми и вернулся с сухими, тёплыми ногами. Часовые потом весь день ходили за ним и спрашивали, где взял.

Были варежки — тоже валяные, тоже из Порогов. Толстые, неуклюжие, некрасивые, зато непродуваемые. Были носки — вязаные, грубые. Была мазь от обморожений — на гусином жире с календулой, бабка Ульна передала рецепт и мешок трав. Был бальзам для потрескавшихся губ — на пчелином воске с мёдом, его придумала Алиса, вспомнив гигиенические помады из прошлой жизни. Матильда назвала его «Медовые губки», и Клом долго отказывался записывать это название в книгу, говоря, что «это неприлично».

И было мыло. Конечно, мыло. Простое, с ромашкой, с мятой, дегтярное. И новое — с розой. Алиса сварила его специально, вспомнив горничную, которая весной просила «с розой, госпожа очень любит». Роз в ноябре на севере не было — были сушёные лепестки шиповника из запасов Берты

и капля розового масла, купленная у аптекаря Брюна втридорога. Клом при виде счёта схватился за сердце. Но мыло получилось нежным, розовым, пахнущим летом — и разошлось за два дня.

Цены Клом назначал сам. Сидел в своём закутке под прилавком, пересчитывал, ворчал, вычёркивал, снова пересчитывал. А Алиса потом тихонько снижала их на четверть, когда он не видел.

Он, конечно, видел. Всегда.

— Хозяйка, — говорил он трагическим шёпотом из-под прилавка, когда она отдавала бабушке Грюн тёплый камень за грош вместо двух. — Хозяйка, я всё вижу. Я всё записываю.

— Записывай, — шептала в ответ Алиса. — В графу «доброта».

— Графа «доброта» уже на третьей странице! — стонал Клом. — У меня бумага кончается!

* * *

Первыми покупателями были жёны солдат из гарнизона.

Это случилось само собой. Ворнская крепость стояла над рыночной площадью, на высоком берегу, и каждое утро по крутой каменной лестнице, ведущей от крепостных ворот вниз, к рынку, спускались женщины. Жёны унтер-офицеров, сержантов, рядовых — тех, кому разрешено было жить при гарнизоне с семьями. С корзинами, с детьми, с узлами белья для прачек. Они проходили мимо лавки каждый день. И од-

нажды одна из них — молоденькая, круглолицая, с младенцем, примотанным платком к груди, — остановилась у окна. Посмотрела на вывеску с домиком. На бруски мыла в цветной холстине. На тёплые камни во фланели.

И зашла.

— Это правда, что у вас камни греют до утра? — спросила она с порога, недоверчиво.

— Правда, — сказала Алиса.

— Дайте один, — сказала женщина. — Муж в карауле ночью, а в казарме холодно, а у маленького ножки ледяные. Два гроша? Дайте.

Наутро она пришла снова. С тремя подругами. А к концу недели в лавку ходила половина гарнизонных жён — за камнями, за мылом, за мазью для мужниных обмороженных рук, за стельками в сапоги. И за разговорами. Лавка была тёплой, чистой, пахла травами — и женщины задерживались. Сидели на лавке у печи, грели руки, кормили детей, судачили. Матильда разливала им травяной чай из большого медного чайника — бесплатно, «за компанию». Клом под прилавком скрипел зубами и записывал.

Комендант пришёл в середине декабря.

Алиса стояла на стремянке, развешивая под потолком пучки сушёной мяты, когда колокольчик над дверью звякнул — весело, звонко, как будто входящий нарочно толкнул дверь посильнее, чтобы колокольчик запел.

— Добрый день! — сказал мужской голос. Молодой, звуч-

ный, с улыбкой в каждом слове. — Это и есть знаменитый «Тёплый дом», о котором у меня в крепости говорят даже часовые на стенах?

Алиса обернулась на стремянке — и чуть с неё не свалилась.

В дверях стоял офицер. Высокий — почти как Валериан, — широкоплечий, в тёмно-синем мундире с серебряными пуговицами и белой ледяной звездой на плече. Без шлема. Светлые волосы — пшеничные, вьющиеся, чуть длиннее, чем полагалось по уставу, — падали на лоб. Лицо — открытое, загорелое даже зимой, с ямочкой на подбородке и с весёлыми морщинками в уголках глаз. Глаза — синие, яркие, смеющиеся. Он улыбался — широко, белозубо, так, что сразу хотелось улыбнуться в ответ.

Ему было, наверное, лет тридцать пять. Он был красив той простой, ясной, солнечной красотой, которая бывает у героев старинных баллад. У рыцарей, побеждающих драконов. У принцев на белых конях.

Алиса так и стояла на стремянке с пучком мяты в руке и смотрела на него.

— Капитан Эмрих Лорн, — сказал офицер и поклонился — изящно, по-придворному, с лёгкой насмешкой над собственной изящностью. — Комендант Ворнского гарнизона. А вы, должно быть, леди Лейн. Знаменитая пустышка из Грантхольма, которая засадила Хольта.

— Не я, — машинально сказала Алиса. — Его светлость.

Лорн рассмеялся. Смех у него был такой же солнечный, как улыбка.

— Мне так и говорили, что вы это скажете, — сказал он. — Слово в слово. — Он подошёл к стремянке и протянул руку. — Позвольте помочь вам спуститься, миледи. А то, если вы упадёте, мои солдатские жёны меня со свету сживут. Они вас тут уже почти святой считают.

Алиса оперлась на его руку и спустилась. Рука была тёплой. Сухой, крепкой, горячей — как тёплый камень. Совсем не такой, как у...

Она отдёрнула руку чуть быстрее, чем следовало.

— Чем могу служить, капитан? — спросила она.

— Перчатками, — сказал Лорн. — Мне сказали, у вас есть валяные варежки, в которых не мёрзнут руки даже в карауле на северной стене. Мои мёрзнут. — Он показал свои ладони — крупные, загорелые, в мозолях от поводьев и рукояти сабли. Костяшки были красными, обветренными, в мелких трещинках. — Как видите, капитанский чин от мороза не спасает.

Алиса достала с полки варежки. Лучшие — из серой шерсти, с вышитой на запястье красной крышей. Лорн надел, сжал и разжал пальцы, прислушался к ощущениям — и лицо его стало удивлённым, как у ребёнка.

— Тепло, — сказал он. — Правда, тепло. Будто руки в печку сунул. — Он поднял глаза на Алису. — Сколько?

— Пять грошей.

— Пять? — Лорн рассмеялся. — Миледи, в Солмаре за такие просят полмарки. Нет-нет, я заплачу марку. И не спорьте.

— Пять грошей, — повторила Алиса.

Из-под прилавка донёсся сдавленный звук — будто кто-то подавился.

Лорн покосился на прилавок. Потом снова на Алису. Улыбнулся ещё шире.

— Тогда я возьму две пары, — сказал он. — И ещё одну — моему ординарцу. А потом приду снова. Завтра. За мылом. — Он помолчал. — Если позволите.

— Это лавка, капитан, — сказала Алиса. — Сюда может прийти кто угодно.

— Кто угодно, — согласился Лорн. — Но не кто угодно будет приходить только для того, чтобы посмотреть на хозяйку.

Алиса почувствовала, что краснеет. Это было глупо. Ей было сорок один год — внутри. Она была разведена. Она двадцать лет работала на производстве, где грузчики делали ей комплименты такого рода, что их не повторишь при детях. Она давно разучилась краснеть.

Оказалось, не разучилась. Двадцатилетнее тело Алисы Лейн краснело само, без спросу, мгновенно и до самых ушей.

— Капитан, — сказала она как можно суше, — у меня к вам письмо. От его светлости.

Она достала из-за прилавка сложенный лист — тот самый,

который Валериан отдал ей на крыльце Грантхольма. Лорн взял его, сломал печать, развернул.

Прочитал. Две строки.

Его брови медленно поползли вверх. Он перечитал. Потом поднял глаза на Алису — и в синих глазах впервые не было смеха. Было что-то другое. Удивление. Любопытство. И — едва заметно — что-то вроде уважения.

— «Леди Алиса Лейн под моей защитой. Её дело — моё дело. В.», — прочитал он вслух. Медленно. — Вы знаете, миледи, сколько писем я получил от командира за двенадцать лет?

— Нет.

— Шесть, — сказал Лорн. — Одно — когда меня назначили комендантом. «Не напортачь. В.». Одно — когда у меня умер отец. «Держись. В.». И четыре — с приказами. — Он сложил письмо и бережно спрятал за пазуху. — Две строки, миледи. Для командира это — целая поэма.

Он поклонился. На этот раз — без насмешки.

— Если вам что-нибудь понадобится, — сказал он, — что угодно, в любой час дня и ночи, — я в крепости. Приходите. Или пришлите кого-нибудь. Я приду.

Он надел новые варежки, улыбнулся ей — снова той солнечной улыбкой — и вышел. Колокольчик весело звякнул.

Алиса стояла у прилавка.

— Хозяйка, — сказал Клом из-под прилавка очень многозначительным тоном.

— Что?

— Пять грошей. Он марку давал. Марку, хозяйка! Двенадцать грошей! А вы — пять!

— Клом...

— И ещё, — сказал кладовик, высунув из-под прилавка ушастую голову и глядя на неё снизу вверх с выражением, которого она раньше у него не видела. — Он на вас смотрел. Вот так. — Клом выпучил жёлтые глаза и сделал губы трубочкой. — Как Пим на Бертины пироги.

— Клом!

— Я ничего не говорю, — невинно сказал кладовик. — Я записываю.

* * *

Беда случилась через три дня. На рынке.

Матильда вызвалась сама. В лавку ходили гарнизонные жёны и жители соседних улиц — но рынок, огромный, шумный, бурлящий, был в двух шагах, и там были сотни людей, которые про «Тёплый домъ» ещё не слышали. «Я с лотком пройдусь, — сказала Матильда. — Как разносчицы ходят. С подносом на шее. Покажу камни. Покажу мыло. Пусть знают».

— Дросс запретил торговать на рынке, — сказала Алиса.

— А я не буду торговать, — сказала Матильда. — Я буду показывать. Кто захочет — пусть приходит в лавку. А в лавке — до Нового года можно. Он сам сказал.

Это было разумно. Алиса согласилась.

Это была ошибка.

Матильда ушла с утра — в своём лучшем платье, в чистом переднике, с деревянным подносом на кожаном ремне через шею. На подносе лежали тёплые камни во фланели с красными крышами, бруски мыла в цветной холстине и маленькие глиняные баночки с «Медовыми губками». И вышитая Матильдой тряпичная вывесочка: «ТЁПЛЫЙ ДОМЪ. Угол Кожевенной».

Через час в лавку влетел мальчишка.

Рыжий. Тощий. Лет десяти. В рваной куртке не по росту, подпоясанной верёвкой, в разбитых башмаках, один из которых был перевязан тряпкой. Лицо — веснушчатое, перемазанное, с разбитой губой, из которой сочилась кровь. Глаза — зелёные, злые, отчаянные.

— Там вашу! — заорал он с порога, задыхаясь. — Там вашу девку — белую — гильдейские! Поднос отобрали! Камни отобрали! А её — толкнули! Она в грязь упала! А я им сказал — чего девку толкаете, гады, — а мне — по морде! Вот! — Он ткнул пальцем в разбитую губу. — Бегите! Они её к Пельтцу ведут!

Гуннар уже был у двери.

Алиса — за ним.

Они нашли её у гильдейского дома на краю рыночной площади. Двухэтажного, каменного, с зелёными ставнями и золочёными весами над дверью.

Матильда стояла у крыльца, растрёпанная, с разбитой коленкой, в изорванном, перемазанном грязью платье. Её держал за локоть один из здоровяков в зелёном кафтане. Второй держал поднос — пустой. Камни, мыло и баночки были свалены в кучу на крыльце. Мастер Пельтц стоял над кучей и с важным видом составлял опись.

— Незаконная торговля на рынке, — скрипел он, водя пером по бумаге. — Без патента. Камни — двенадцать штук. Мыло — восемнадцать брусков. Баночки неизвестного содержимого — девять. Конфисковано в пользу Гильдии...

— Я не торговала! — сказала Матильда звенящим голосом. В глазах у неё стояли слёзы, но голос не дрожал. — Я показывала! Я ни грошика не взяла!

— Показывала, — повторил Пельтц, не поднимая глаз. — Показ товара на рынке есть предложение к продаже. Предложение к продаже есть торговля. Статья седьмая гильдейского устава...

— Отпустите её, — сказал Гуннар.

Он остановился в трёх шагах от крыльца. Огромный, однорукий, в старой солдатской куртке. Не повышал голоса. Не делал резких движений. Просто стоял.

Здоровяк, державший Матильду, посмотрел на него. На его пустой рукав. Усмехнулся.

— А ты кто такой, обрубок?

Гуннар не ответил. Он просто сделал шаг вперёд.

И ещё один.

Здоровяк перестал усмехаться. Почему-то. Сам не понял почему. Что-то было в лице однорукого — тяжёлом, неподвижном, со шрамом через бровь, — что-то такое, что видят люди, которые никогда не были на войне, только один раз. Перед тем как пожалеть, что не убежали.

Здоровяк отпустил Матильдин локоть.

Матильда шагнула к Алисе. Алиса обняла её. Матильда дрожала мелкой дрожью, всем телом, — как птица.

— Товар остаётся у Гильдии, — сказал Пельтц, по-прежнему не глядя на них. — По закону. Можете обжаловать. У мастера Дросса. До Нового года.

Алиса посмотрела на кучу на крыльце. Тёплые камни, которые Матильда держала в ладонях, чтобы тепло легло ровно. Мыло. «Медовые губки».

Потом на Пельтца.

— Мастер Пельтц, — сказала она тихо. — Эти камни остынут к вечеру. Если их не держать. А мыло на морозе потрескается. А в баночках — мёд и воск, он замёрзнет и испортится. Через день у вашей Гильдии будет куча мокрых булыжников и испорченного воска.

Пельтц поднял голову. Посмотрел на неё поверх бумаги.

— И что?

— И ничего, — сказала Алиса. — Просто подумала, что вам стоит это знать. Для описи.

Она повернулась и пошла прочь, обнимая Матильду за плечи. Гуннар — следом. Рыжий мальчишка, всё это вре-

мя прятавшийся за углом гильдейского дома, — за ними, на расстоянии.

В лавке Алиса промыла Матильде коленку. Кипячёной водой, с мылом. Смазала мазью. Перевязала. Матильда сидела на лавке у печи, закутанная в Алисину шаль, с кружкой горячего чая в руках, и всё ещё дрожала.

— Простите, госпожа, — шептала она. — Простите. Это я виновата. Это я придумала с подносом. Я не думала, что они...

— Ты не виновата, Тильда, — сказала Алиса. — Виноват тот, кто толкает девушек в грязь. Всегда. Без исключений.

Рыжий мальчишка стоял у двери. Он не уходил — и не входил дальше порога. Смотрел на печь, на Матильду, на Алису, на стеллажи с мылом, на тёплые камни — жадно, голодно, отчаянно, как смотрят дети, которые давно не были в тепле.

Алиса подошла к нему.

— Как тебя зовут?

Мальчишка дёрнулся, будто она замахнулась.

— Флинт, — сказал он хрипло.

— Флинт, — повторила Алиса. — Это ты прибежал за нами?

— Ну я.

— И это тебе разбили губу? За то, что ты заступился?

Флинт мотнул головой — не то да, не то нет.

— Иди сюда, — сказала Алиса. — Сядь у печки.

— Не, — сказал Флинт. — Я грязный. Я тут всё запачкаю.

— Запачкаешь — помоем, — сказала Алиса. — Мы тут, знаешь ли, мыло варим.

Флинт посмотрел на неё долгим, недоверчивым, взрослым взглядом. Потом медленно — очень медленно, будто ожидая подвоха, — шагнул к печке. Сел на краешек лавки рядом с Матильдой. Вытянул к огню худые грязные руки.

Матильда, всё ещё всхлипывая, молча сунула ему свою кружку с чаем.

Алиса промыла и ему губу. Флинт морщился, шипел, но терпел. Потом Матильда принесла ему хлеба с салом. Он съел его так быстро, что Алиса испугалась — не подавится ли. Потом ещё один кусок. Потом — третий.

— У тебя есть дом? — спросила Алиса.

— Есть, — сказал Флинт с набитым ртом. — Под мостом. Там, где кожевенный сток. Там тепло — от стока. И нас там шестеро. Я старший.

— Шестеро?

— Ну. — Флинт пожал тощими плечами. — Сироты. Нас тут много. В Нижнем квартале — ещё больше.

Алиса молчала.

Под прилавком было тихо. Даже грифель не скрипел.

— Флинт, — сказала она наконец. — Приходи завтра. И приводи своих пятерых. У нас будет каша. И тёплые камни. И, если захотите, — баня. За лавкой есть сарайчик, мы там

котлы поставим.

Флинт перестал жевать. Посмотрел на неё — и глаза у него стали совсем детскими.

— Зачем? — спросил он.

— Затем, что ты сегодня заступился за мою Тильду, — сказала Алиса. — А за своих не заступаются даром. Это первое правило.

— Чьё правило?

Алиса подумала.

— Одного однорукого сержанта, — сказала она.

Гуннар у двери кашлянул. Отвернулся. Очень сосредоточенно начал разглядывать дверной косяк.

А под прилавком тихонько заскрипел грифель.

* * *

Ответ пришёл в предпоследний день декабря. С гарнизонным гонцом.

Это был тот же солдатик, что приносил первое письмо осенью, — молоденький, раскрасневшийся с мороза, в шапке, натянутой до бровей. Он вошёл в лавку, отряхнул снег с плеч, огляделся — увидел шестерых чумазых сирот на лавке у печки, уплетающих кашу из глиняных мисок, увидел Матильду с половником, увидел Флинта, который командовал младшими, как сержант новобранцами, — и растерянно моргнул.

— Леди Лейн? — спросил он неуверенно.

— Я, — сказала Алиса из-за прилавка.

— Вам. — Солдатик протянул ей письмо. — Лично в руки. От его светлости. С перевала. — Он помялся. — А можно... это... мне тоже камень? Тёплый? Я на часах ночью стою, а там ветер...

Алиса дала ему камень. Даром. Клом под прилавком даже не пикнул.

Она унесла письмо наверх. В свою каморку под крышей. Закрыла дверь. Села на кровать. Посмотрела на печать.

Ель и звезда. Ровная «В». Тот же красный воск.

Сломала.

Внутри был один лист. Грубая солдатская бумага. Острый, резкий, нетерпеливый почерк.

Три строки. И ещё одна — отдельно, ниже.

«Леди Лейн.

Иней в наличии. В избытке. Выслать не могу — тает в дороге.

Армейский подряд гильдейским уставом не охватывается. Хартия 1198 года, статья 14, — у Лорна есть копия. Станьте поставщиком гарнизона Ворна. Лорну я написал.

В.

Клому: мыши не торгуются. Пусть торгуется».

Алиса прочитала. Один раз. Второй. Третий.

«Иней в наличии. В избытке. Выслать не могу — тает в дороге».

Он прочитал. Зачёркнутую строчку. Он её прочитал. И ответил.

Не на отчёт о крыше, о мельнице, о Дроссе и о сорока кронах. На это он тоже ответил — коротко, точно, по-военному, одной строкой с номером статьи. Но первым, самым первым, он ответил на то, что она зачеркнула.

«Я почти скучаю по вашему инею».

«Иней в наличии. Выслать не могу».

Алиса сидела на кровати в холодной каморке под крышей, сжимая в руках грубый солдатский лист, и чувствовала, как к щекам приливает жар. Как губы сами собой растягиваются в улыбку — глупую, неудержимую, совсем девчоночью.

— Дура, — сказала она себе вслух. — Сорок один год. Дура.

Улыбка не уходила.

Она перечитала письмо в четвёртый раз. Потом в пятый. Потом сложила и положила в бархатную шкатулку из-под маминых серёжек. К первому письму. Шкатулка, кажется, начинала становиться тесноватой.

Потом спустилась вниз.

Клом сидел в своём закутке под прилавком. Увидел её лицо — и уши его медленно поползли вверх.

— Хозяйка, — сказал он, — вы чего такая... розовая?

— Клом, — сказала Алиса. — Тебе привет. От его светлости.

— Мне? — Клом вытаращил жёлтые глаза. — Лично мне?

Алиса протянула ему письмо, прикрыв ладонью первые строки. Показала только последнюю.

«Клому: мыши не торгуются. Пусть торгуется».

Клом читал долго. Шевелил губами. Потом поднял голову. Его лицо медленно расцветало — от ушей к носу, от носа к широкому рту.

— Хозяйка, — сказал он торжественно. — Его светлость. Признал. Что я. Не мышь.

— Признал.

— Письменно.

— Письменно.

— С печатью!

— С печатью.

Клом медленно, с достоинством, выпрямился во весь свой кошачий рост. Поправил лоскутную жилетку. Пригладил уши.

— Так, — сказал он. — Где этот Лорн? Где его хартия? Статья четырнадцать? Хозяйка, несите бумагу. Две. Нет — три! Будем торговаться! Его светлость велели!

Шестеро сирот на лавке у печки перестали жевать и уставились на прилавок, из-за которого доносился скрипучий воинственный голос.

— Ой, — сказал самый младший, лет пяти. — Там кто-то есть.

— Это Клом, — сказал Флинт со знанием дела. — Он казначей. Он сердитый. Но не злой. Мне тётя Тильда сказала.

Самый младший подумал.

— А он кашу ест?

Из-под прилавка высунулась ушастая голова. Жёлтые глаза уставились на малыша.

— Ем, — сказал Клом. — Но только по записи.

Малыш взвизгнул от восторга и полез под прилавок смотреть.

Глава 3. «Подряд на портянки»

Клом: «Подряд на 300 солдат. Впервые за девять лет мне хочется петь».

Ворнская крепость изнутри оказалась совсем не такой, как снаружи.

Снаружи — с рыночной площади, снизу вверх — она выглядела грозно и неприступно: серые стены, квадратные башни, узкие бойницы, синий флаг над главной башней. Казалось, что внутри должны быть пушки, мрачные коридоры, лязг оружия и суровые воины с каменными лицами.

Внутри было бельё.

Бельё висело везде. На верёвках между башнями. На перилах галерей. На зубцах стен — прямо над бойницами, под которыми скучали часовые. Рубахи, портки, портянки, нательное — серое, бурое, застиранное, линялое. Оно трепетало на ветру, как флаги какой-то странной, очень бедной армии. Между верёвками бегали дети. Где-то кудахтали куры. Где-то ругались женщины. Пахло дымом, кашей, конским навозом и мокрой шерстью.

— Добро пожаловать в Ворнский гарнизон, — сказал капитан Лорн, распахивая перед Алисой ворота во внутренний двор и улыбаясь своей солнечной улыбкой. — Оплот Северной марки. Щит королевства. Гроза горцев. И самая большая прачечная в Асдерии.

— Это же не по уставу, — сказала Алиса, оглядываясь.

— Совершенно не по уставу, — весело согласился Лорн. — Устав велит, чтобы в крепости не было ничего, кроме гарнизона, оружия и провианта. Но в гарнизоне триста человек. Сорок из них — с жёнами. Тридцать — с детьми. А жёнам надо где-то стирать. А детям — где-то бегать. А курам — где-то нестись. — Он развёл руками. — Устав писали в столице. Люди, которые ни разу в жизни не зимовали на севере.

Он провёл её через двор, мимо колодца, у которого женщины полоскали бельё в ледяной воде, растирая красные руки, — Алиса отметила про себя: колодец, надо проверить воду, — мимо казарм, из окон которых доносился храп и кашель, мимо конюшни, мимо кузницы, где молотом гремел здоровенный бородач, — к низкому каменному зданию у дальней стены.

— Интендантская, — сказал Лорн. — Здесь сидит наш главный враг. Страшнее горцев.

— Кто?

— Сержант-интендант Бруно Кляйн, — сказал Лорн и понизил голос до драматического шёпота. — Человек, который знает цену каждой нитке в этой крепости. И который считает, что любая нитка, купленная не у его поставщиков, — это личное оскорбление.

Сержант Бруно Кляйн оказался маленьким, круглым, лысым, с огромными пушистыми бакенбардами, придававши-

ми ему сходство с рассерженным филином. Он сидел за столом, заваленным бумагами, счётами, образцами сукна и мешочками с крупой, и смотрел на Алису поверх очков так, будто она была крысой, забравшейся в его амбар.

— Мыло, — сказал он, когда Лорн объяснил, зачем они пришли. — Мыло. Для гарнизона.

— Мыло, — подтвердила Алиса. — И мазь от обморожений. И портянки. И тёплые камни для часовых.

— У нас есть поставщики мыла, — сказал Кляйн.

— Какие?

— Торговый дом братьев Фукс. Из Солмара. Через гильдию.

— Почём?

Кляйн поджал губы.

— Это служебная информация, — сказал он.

— Две с половиной марки за брусок, — весело сказал Лорн, глядя в потолок. — Я видел счета. Двести брусков в квартал. Это сорок крон. Каждые три месяца. А мыло, между прочим, дрянное. Щиплет, сушит, воняет салом. Мои ребята после него чешутся сильнее, чем до.

Кляйн побагровел.

— Капитан!

— Сержант, — ласково сказал Лорн. — У меня от вашего мыла руки трескаются. Хотите, покажу?

Кляйн открыл рот — и закрыл его. Посмотрел на Алису с ненавистью.

— Почём ваше? — спросил он сквозь зубы.

— Для армии — по гроше за брусок, — сказала Алиса. — Так договорено с его светлостью. Для Северной армии. На перевалах.

— По гроше? — Кляйн снял очки. Протёр. Надел. — По гроше? Вы смеётесь? Себестоимость мыла — не меньше полмарки!

— Себестоимость солмарского мыла, — сказала Алиса, — не меньше полмарки. Потому что его варят из привозного масла, везут через полкоролевства, платят пошлины, платят гильдии, платят посредникам. А моё варят здесь. Из местного жира. Из местной золы. Местные руки. Никаких пошлин. Никаких посредников. Никакой гильдии.

— Гильдия вам не позволит, — сказал Кляйн с мрачным удовлетворением.

— Гильдия, — сказал Лорн, доставая из-за пазухи свёрнутый в трубку пожелтевший пергамент, — не имеет к этому никакого отношения. Хартия тысяча сто девяносто восьмого года, статья четырнадцатая. «Поставки для нужд войска его величества, а равно и для нужд крепостей, гарнизонов и лагерей, осуществляются по распоряжению командующего войсками и не подлежат ведению торговых гильдий, цехов и корпораций». — Он свернул пергамент. — Мне эту копию сегодня утром принёс гонец. С перевала. С запиской от командира.

— С какой запиской? — подозрительно спросил Кляйн.

Лорн улыбнулся.

— «Лорн. Леди Лейн — поставщик гарнизона. Кляйну скажи, что, если будет спорить, я приеду сам. В.», — процитировал он. — Хотите, покажу, сержант?

Кляйн не хотел.

* * *

Договор подписывали в кабинете коменданта. На втором этаже главной башни, с видом на рыночную площадь, на реку, на город.

Кабинет Лорна был совсем не похож на кабинет Валериана в Грантхольме. Там — строгость, книги, отцовский стол, иней. Здесь — беспорядок, тепло и жизнь. Огромный камин, в котором трещали поленья. Медвежья шкура на полу. Карты на стенах — с пометками, стрелками и кофейными пятнами. Сабля на гвозде. Лютня в углу — старая, с треснувшей декой и одной оборванной струной. На подоконнике — горшок с геранью, единственной живой зеленью, которую Алиса видела в Ворне за всю зиму.

— Это моя мать прислала, — сказал Лорн, заметив её взгляд. — Из Солмара. Пишет, что без цветов я одичаю. Я ей не говорю, что уже давно одичал. Огорчится.

— Вы играете? — спросила Алиса, кивнув на лютню.

— Ужасно, — радостно сказал Лорн. — Мои солдаты говорят, что, когда я играю, горцы отступают за перевал. Хотите, сыграю?

— Нет, — сказала Алиса.

Лорн расхохотался.

Договор составил Клом. Конечно, Клом. Он трудился над ним два вечера, сидя в своём закутке под прилавком, высунув от усердия кончик языка, и исписал шесть листов, вычёркивая, исправляя и бормоча себе под нос что-то вроде: «А если сапоги... нет, сапоги не наши... а если штраф за просрочку... нет, просрочки не будет, я не допущу...» Алиса потом переписала его начисто своим ровным почерком. Клома, к сожалению, нельзя было взять в крепость — он едва держался в лавке, рядом с грантхольмским кирпичом, и любая прогулка за порог могла обернуться бедой.

Лорн читал договор долго. Брови его поднимались всё выше и выше.

— Миледи, — сказал он наконец, — кто это составлял?

— Мой казначей, — сказала Алиса.

— Ваш казначей, — повторил Лорн с уважением, — мог бы составлять договоры для королевской казны. Тут предусмотрено всё. Даже, — он ткнул пальцем в строчку, — «в случае, если гарнизон будет переведён в другое место, поставщик обязуется доставлять товар туда же, но за отдельную плату за каждую версту». Я двенадцать лет служу и ни разу не видел, чтобы кто-то подумал о такой мелочи.

— Он думает обо всём, — сказала Алиса. — Это его работа.

— Познакомьте меня с ним как-нибудь.

Алиса помолчала.

— Возможно, — сказала она. — Если он захочет.

Договор был простой. Лавка «Тёплый домъ» поставляет Ворнскому гарнизону мыло — по два бруска в месяц на человека, по гроше за брусок. Мазь от обморожений — по требованию, по два гроша за баночку. Портянки фланелевые — по две пары на человека, по три гроша пара. Тёплые камни для часовых — тридцать штук ежедневно, по гроше за калку. Оплата — ежемесячно, из гарнизонной казны, по ведомости, подписанной комендантом.

Триста человек. Шестьсот брусков в месяц. Шестьсот пар портянок — разово, на зиму. Тридцать камней — каждый день.

Алиса смотрела на цифры, и голова у неё кружилась.

Шестьсот брусков. Грантхольм варил двести в неделю. Из них сто уходило на перевал, в Северную армию, сто — в лавку. Если отдать гарнизону шестьсот в месяц — это сто пятьдесят в неделю. Надо было варить ещё. Больше. Быстрее. Найти ещё людей. Ещё котлы. Ещё жир.

Жир. Главное — жир.

— Подписываете, миледи? — спросил Лорн.

Алиса подписала.

Лорн подписал следом — размашисто, с завитушкой на конце. Поставил печать гарнизона. Посыпал песком. Сдул. Протянул ей один экземпляр.

— Поздравляю, — сказал он. — Вы — первая женщина в истории Ворна, которая заключила подряд с королевской

армией. — Он улыбнулся. — И, кажется, первая, кто заставил Кляйна замолчать.

— Это не я, — сказала Алиса. — Это его светлость.

— Его светлость, — согласился Лорн. И вдруг посмотрел на неё — внимательно, пристально, без улыбки. — Скажите, миледи. Простите мою дерзость. Вы с командиром... в каких отношениях?

Алиса почувствовала, как жар бросается в лицо. Опять. Проклятое двадцатилетнее тело.

— Он мой опекун, — сказала она ровно. — Я — его подопечная. И управляющая его поместьем. По договору.

— По договору, — повторил Лорн. Помолчал. — А он пишет вам письма?

— Раз в месяц. Тоже по договору.

— Длинные?

— Четыре строки, — сказала Алиса. — Иногда три.

Лорн смотрел на неё ещё несколько секунд. Потом — неожиданно — рассмеялся. Легко, весело, без тени обиды.

— Четыре строки, — сказал он. — Мне он написал шесть писем за двенадцать лет. А вам — каждый месяц. По четыре строки. — Он покачал головой. — Простите, миледи. Не моё дело. — Он встал и поклонился. — Но если вам когда-нибудь захочется, чтобы вам писали письма длиннее четырёх строк, — я, знаете ли, очень многословный человек. И пишу без ошибок. Почти.

Алиса не нашлась, что ответить.

Она шла вниз по крутой каменной лестнице от крепостных ворот к рыночной площади, прижимая к груди договор, и думала: «Что это было?»

И ещё думала: «Почему я сразу подумала о другом? О письмах в четыре строки?»

И ещё — совсем тихо, почти неслышно для себя самой: «Почему мне не захотелось писем длиннее?»

* * *

Дросс узнал о подряде через два дня.

Алиса поняла это по тому, что утром в лавку не пришла ни одна торговка жиром.

Раньше они приходили каждое утро. Три-четыре женщины с рынка — мясничихи, колбасницы, жёны забойщиков. Приносили горшки с салом — говяжьим, свиным, — торговались с Матильдой, получали деньги или мыло, уходили. Это было удобно, недорого и надёжно. Жир был главным сырьём. Без жира — нет мыла.

В то утро не пришёл никто.

К полудню Гуннар сходил на рынок. Вернулся мрачнее тучи.

— Скупили, — сказал он.

— Что скупили?

— Весь жир. На рынке. У всех мясников. Говяжий, свиной, бараний — весь. Вчера вечером. Люди Дросса ходили по рядам с кошелями. Платили вдвое против обычного. Кто не продавал — тем грозили патент отобрать. — Он помол-

чал. — Мясник Грубер мне сказал. Он не хотел продавать. Ему Пельтц сказал: «Продашь пустышке хоть фунт — в следующем году патента не получишь».

Алиса стояла посреди лавки. Под ногами у неё, казалось, проваливался пол.

— А в Грантхольме? — спросила она. — Там свой жир. Деревенский.

— В Грантхольме — на свою мыльню хватает, — сказал Гуннар. — И на перевал. А на гарнизон — нет. Я Берту спрашивал. Деревенские уже всё, что было, отдали. Осенью, после пожара. Новый жир будет, когда скотину забьют. А забивают по весне.

— Сколько у нас в лавке?

Матильда заглянула в кладовку.

— Три горшка, — сказала она тихо. — На неделю. Если варить только для лавки.

— А гарнизону — первая поставка через две недели, — сказал Клом из-под прилавка. — Шестьсот брусков. На шестьсот брусков нужно... — Он заскрипел грифелем. — Двести сорок фунтов жира. Хозяйка, у нас — пятнадцать.

Тишина.

— Он это нарочно, — сказала Матильда. — Дросс. Он узнал про подряд. Подряд ему не запретить — там хартия. Так он решил — пусть не будет мыла. Не будет мыла — не будет поставки. Не будет поставки — гарнизон разорвёт договор.

— И вернётся к братьям Фукс, — закончил Клом. — По две с половиной марки. Через гильдию.

Алиса медленно опустилась на лавку у печки.

Вот так. Не через закон — закон был на её стороне. Не через силу — у неё был Гуннар и письмо герцога. А через жир. Простой, обычный, вонючий свиной жир.

Хитрый старый лис.

— Ладно, — сказала она. — Думаем.

Думали весь вечер.

Клом сидел на прилавке со своей книжечкой и перебирал варианты, как перебирают зёрна, — один за другим, вслух, с комментариями.

— Купить в Ольшанке? Ольшанка — герцогская, но мясника там нет, забивают по весне. Не годится. В Сухом Броде — то же самое. Купить в другом городе? Ближайший город — Хаммерталь, сорок вёрст. Туда — три дня, обратно — три дня. Плюс цена. Плюс там тоже гильдия, Дросс им напишет. Не годится.

— А растительное масло? — спросила Алиса. — Из семян? Конопляное, льняное?

— Льняное — дорогое, — сказал Клом. — В Ворне его продаёт аптекарь Брюн. Для красок и для ламп. По марке за кружку. Шестьсот брусков на льняном масле — это... — Он посчитал. — Это сто сорок крон. Хозяйка, у нас столько нет.

— А другой жир? — спросил Гуннар. — Не говяжий, не

свиной. Охотники. Медведь, барсук. Я на перевалах у охотников покупал барсучий — для ран, для сапог.

— Барсучий — дорогой, — сказал Клом. — Его аптекари покупают. Он лечебный. Шестьсот брусков на барсучьем — это...

— Я поняла, — сказала Алиса. — Тоже дорого.

Флинт, который сидел в углу у печки и с набитым ртом доедал вторую миску каши — он теперь приходил каждый вечер, иногда один, иногда со всеми своими пятью, — вдруг поднял голову.

— А рыбий? — спросил он.

Все посмотрели на него.

— Чего? — спросил Клом.

— Рыбий жир, — сказал Флинт. — У рыбаков. Под мостом. Там, где мы живём. Старый Ханнес и его сыновья. Они на Лиаре налима ловят. Зимой — подо льдом. Налим жирный. У него печёнка — во! — Он показал руками. — Ханнес печёнку вытапливает. В бочки. Целые бочки жира. Его никто не покупает — вонючий. Только кожевники берут, сапоги мазать. И то — мало. Ханнес на нём сидит, как на кладе. Бочек десять, не меньше. Продаст — за гроши. Лишь бы забрали.

Тишина в лавке стала совсем другой. Задумчивой.

— Рыбий жир, — медленно сказала Алиса.

— Вонючий, — сказал Клом. — Хозяйка. Это же вонь. Это же... это же рыбой будет пахнуть. Всё. Мыло. Лавка. Ули-

ца. Весь Ворн.

— Если перетопить с солью, — сказала Алиса, думая вслух, — запах уйдёт. Не весь, но большая часть. Как с прогорклым салом весной. Помнишь?

— Помню, — мрачно сказал Клом. — Тогда тоже воняло.

— А потом — не воняло.

— Потом вы два котла испортили!

— Испортили, — согласилась Алиса. — А потом — получилось.

Клом открыл рот. Закрыл. Посмотрел на книжечку. Посмотрел на Алису. Посмотрел на Флинта.

— Почём бочка? — спросил он у мальчишки — сухо, поделовому.

Флинт подумал.

— Ханнес говорит — кто заберёт, тому даром, — сказал он. — Только бочку вернуть. Бочки ему нужны.

Клом поперхнулся.

— Даром?

— Ну.

— Даром, — повторил Клом. Его уши медленно, нерешительно, будто не веря сами себе, начали подниматься. — Десять бочек. Даром. Это... это... — Он зашевелил губами, пересчитывая. — Это четыреста фунтов жира. Это тысяча брусков. Даром.

Он посмотрел на Алису. В его жёлтых глазах боролись два чувства: ужас перед грядущей вонью и восторг перед словом

«даром».

Восторг победил.

— Хозяйка, — сказал Клом торжественно. — Берём.

* * *

Наутро Флинт повёл их под мост.

Под мостом было темно, сыро и холодно, хотя дети говорили, что «тепло». Тепло было относительное: здесь в Лиару стекала вода из кожевенных мастерских, и от неё шёл пар — вонючий, едкий, бурый. Вдоль берега, у самой опоры моста, лепились лачуги из досок, рогожи и старых парусов. Пахло рыбой, дымом, кожевенной гнилью и нищетой.

Ханнес оказался древним стариком — сморщенным, как печёное яблоко, беззубым, с белой бородой до пояса и удивительно ясными голубыми глазами. Он сидел у костра перед своей лачугой и чинил сеть, ловко орудуя костяной иглой. Рядом с ним, в ряд, стояли бочки. Одиннадцать штук. Тёмные, просмолённые, с потёками чего-то жёлто-бурого на боках.

Алиса подошла к ближайшей. Подняла крышку.

Запах ударил ей в лицо — как кулаком.

Это был не просто запах рыбы. Это был запах рыбы, которая умерла, протухла, воскресла, снова умерла и была вытоплена в котле вместе со всеми своими грехами. Густой, жирный, тяжёлый, сладковато-тошнотворный. Он лез в нос, в рот, в глаза, в волосы, в самую душу.

Матильда, стоявшая рядом, позеленела и отвернулась.

Гуннар не дрогнул. Но Алиса видела, как у него дёрнулась щека.

Алиса заглянула в бочку. Жир был светлым — светлее, чем она ожидала. Желтоватым, почти прозрачным, густым, как мёд. Чистым — по крайней мере, на вид.

— Налимий? — спросила она у старика.

— Налимий, барышня, — прошамкал Ханнес. — Из печёнок. Зимний. Самый жирный. Я его сорок лет топлю. Мой дед топил. Его дед топил. Раньше брали — на лампы. Теперь лампы на сурепном жгут, а налимий никому не нужен. — Он махнул рукой. — Забирайте. Всё забирайте. Бочки только верните. И, если не жалко, — мыла кусочек. Внучке. Она слыхала про вашу лавку. Говорит — там камни тёплые.

Алиса опустила крышку. Повернулась к Гуннару.

— Телегу, — сказала она. — Все одиннадцать.

Гуннар кивнул.

Матильда, всё ещё зелёная, посмотрела на неё с ужасом.

— Госпожа, — прошептала она. — Это же... это же весь Ворн будет...

— Будет, — сказала Алиса. — Наверное. Сначала.

Она посмотрела на мост над головой. На серые камни опор, на бурую воду, на лачуги, на Флинта и его пятерых сирот, которые выглядывали из-за ближайшей рогожи. На старого Ханнеса с сетью.

— Но лучше вонь, чем Дросс, — сказала она.

Старый Ханнес у костра хрипло, беззубо рассмеялся.

— Ох, барышня, — сказал он. — Это вы ещё нашего Дросса не нюхали. По сравнению с ним налимий жир — что твоя роза.

Глава 4. «Мыло рыбное, неудачное»

Клом: «Убытки от рыбного мыла: 2 марки, 7 грошей и репутация всей улицы».

Первым пришёл кожевник.

Это было, если вдуматься, высшей точкой абсурда. Человек, чья мастерская стояла в конце Кожевенной улицы и чьи чаны с дублёными шкурами наполняли полгорода таким смрадом, что приезжие, впервые попав в Ворн, зажимали носы и спрашивали, не сдохло ли где-нибудь стадо коров, — этот человек пришёл жаловаться на запах.

— Это что такое?! — ревел он с порога лавки, огромный, краснолицый, в кожаном фартуке до колен, с ручищами, покрытыми бурыми пятнами от дубильного раствора. — Это что, я спрашиваю, такое?! У меня жена в обморок упала! У меня подмастерье сбежал! У меня собаки воют! У меня... у меня... — Он задохнулся, зажал нос двумя пальцами и закончил гнусаво: — У бедя глаза слезятся!

— Это мыло, мастер Хуго, — сказала Алиса из-за прилавка. — Варится.

— Было?! — Хуго отнял руку от носа, вдохнул, побледнел и снова зажал. — Это де было! Это дохлая рыба! Это дохлая рыба, которую сварили в дохлой рыбе и полили дох-

лой рыбой!

Он был не так уж далёк от истины.

Первую партию из налимьего жира Алиса поставила на огонь ещё на рассвете. В большом котле, в сарайчике за лавкой, куда Гуннар провёл трубу от печи. Жир она перетопила с солью — дважды, как весной. Сняла чистый слой. Ей показалось, что запах стал меньше.

Ей показалось.

Когда в горячий налимий жир полился щёлок, запах не просто вернулся. Он воскрес. Он восстал из котла, как древнее чудовище из болота, — густой, сладкий, тошнотворный, всепроникающий. Он прошёл сквозь стены сарайчика, как сквозь бумагу. Он заполнил лавку, поднялся по лестнице в каморки под крышей, просочился в щели окон и выплыл на улицу. Там его подхватил ветер — как назло, северный, — и понёс вдоль Кожевенной улицы, через рыночную площадь, к собору.

К полудню весь квартал знал, что в «Тёплом доме» случилось что-то страшное.

К часу дня торговки на рынке вынесли из домов маленькие медные лампадки со священным огнём — такие стояли в каждом доме Асдерии под образом Единого Пламени — и поставили их на подоконники. Против нечистой силы. Против порчи. Против колдовства.

К двум часам дьякон из собора прошёлся по Кожевенной улице с кадилом, окуривая ладаном двери и бормоча молит-

вы очищения. Ладан против налимьего жира проиграл с разгромным счётом.

К трём часам пришёл кожевник Хуго.

— Если вы это де прекратите, — гнусавил он, — я пожалуюсь в ратушу! В гильдию! Бургомистру! Его светлости! Самому королю!

— Мастер Хуго, — сказала Алиса как можно спокойнее, — вы ведь сами дубите шкуры. У вас в чанах — настой коры и... ну... другие вещи. Весь Ворн это нюхает. Каждый день. Годами.

Хуго побагровел ещё сильнее, хотя казалось — уже некуда.

— Это другое! — заорал он. — Это ремесло! Это честный запах! А это... это... это колдовство!

Из-под прилавка донёсся тихий, но отчётливый голос:

— Убытки от рыбного мыла: две марки, семь грошей. И репутация всей улицы.

Хуго дёрнулся, покосился на прилавок, ничего не увидел, перекрестился знаком Пламени — и вылетел из лавки, хлопнув дверью так, что колокольчик сорвался с гвоздя и с жалобным звяком покатился по полу.

Мыло, кстати, не получилось.

Это выяснилось к вечеру, когда масса в котле наконец загустела и Алиса, обмотав лицо мокрой тряпкой, сняла пробу. Масса была мягкой — слишком мягкой, жирной, скользкой,

как густая сметана. Она не застывала. Она расползалась. А запах... запах никуда не делся. Высолка солью не помогла. Перетопка не помогла. Мыло пахло ровно тем, чем было: печенью налима, умершего в муках.

— Брак, — сказала Алиса, глядя в котёл. — Полный брак.

Она знала почему. Знала ещё до того, как начала — но надеялась, что обойдётся. Рыбий жир — жидкий. В нём другие жирные кислоты, ненасыщенные, мягкие, текучие. Из такого жира получается жидкое мыло, а не твёрдое. А ещё он окисляется — быстро, жадно, на воздухе, — и вот это окисление и даёт тот самый запах. Чем дольше греешь, тем сильнее воняет.

На производстве такое мыло не варили бы никогда. А если бы и варили — то в закрытых реакторах, с антиоксидантами, с отдушками, с дезодорирующими добавками, о которых здесь никто не слыхал.

Две марки и семь грошей. Дрова, щёлок, соль, время. И одиннадцать бочек вонючего жира в сарае, который теперь никто не купит даже даром.

Алиса стояла над котлом, и ей хотелось сесть прямо на пол и разреветься.

— Госпожа, — сказала Матильда у неё за спиной. — Госпожа, можно я попробую?

* * *

Матильда работала всю ночь.

Алиса не мешала. Она сидела в лавке, у печки, вместе с

Гуннаром и Кломом, и смотрела сквозь приоткрытую дверь сарайчика, как её ученица — тоненькая, белобрысая, в кожаном фартуке кузнеца, с волосами, убранными под платок, — колдует над маленьким котлом.

Не над большим — над маленьким. Пробным. Матильда сказала: «Я сначала чуть-чуть. Если не выйдет — не жалко».

Она взяла налимий жир — немного, с пару фунтов. Перетопила. Но не с солью — с солью Алиса уже пробовала, — а с чем-то другим. Алиса видела, как она бросает в котёл пригоршни чего-то тёмного, сухого, мелкого. Потом — куски чего-то янтарного, блестящего, как застывший мёд. Потом — снова тёмное.

— Что это? — тихо спросила Алиса у Гуннара.

— Можжевельник, — сказал Гуннар, принюхиваясь. — Ягоды. Сушёные. Она вчера у Хильды целый мешок выменяла. А янтарное — смола. Сосновая. Живица. Я сам ей нёс из леса, она просила. Сказала — для пробы.

— Вчера? — удивилась Алиса. — Она уже вчера знала, что первый котёл не выйдет?

Гуннар пожал плечом.

— Она тебя полгода слушает, — сказал он. — Учится.

Запах из сарайчика менялся.

Медленно, очень медленно — час за часом — рыбная вонь отступала. Не исчезала — нет. Но в неё вплетались другие ноты. Сначала — резкая, острая, хвойная: можжевельник. Потом — тёплая, смолистая, медовая: живица. Потом

— что-то ещё, дымное, горьковатое, похожее на дёготь. Запахи боролись друг с другом, сплетались, переплетались. Как будто в котле шла маленькая война — и рыба её проигрывала.

Матильда стояла у котла, положив ладони на его бока. Глаза её были закрыты. Губы шевелились.

— Что она шепчет? — спросил Клом из-под прилавка.

Алиса прислушалась.

— Кажется... — Она улыбнулась. — Кажется, она уговаривает злючек. Чтобы они не трогали лес. А трогали только рыбу.

Клом хмыкнул. Потом подумал и тоже хмыкнул — но уже иначе. Уважительно.

К рассвету Матильда вышла из сарайчика. Шатаясь. Бледная, мокрая от пота, с запавшими глазами. В руках у неё была деревянная форма — маленькая, на шесть брусков. Она поставила её на прилавок перед Алисой и рухнула на лавку у печки.

— Попробуйте, — прошептала она. — Пожалуйста. Я больше не могу. У меня искра кончилась.

Гуннар молча сунул ей кусок хлеба с салом. Матильда начала жевать, не открывая глаз.

Алиса посмотрела на форму.

Мыло было тёмным. Не жёлтым, как обычное, и не серым — тёмно-янтарным, почти медовым, с крошечными чёрными точками раздавленных можжевеловых ягод. Оно было

твёрдым. Алиса нажала пальцем — палец не продавил. Смола сделала своё дело: канифоль из живицы, как она вспомнила, делает мыло твёрже. Её добавляли в мыло веками — и в бабушкином хозяйственном, и в солдатском.

Она наклонилась и понюхала.

Лес.

Не рыба. Лес. Зимний северный лес — хвоя, смола, дым костра, снег. Где-то очень-очень глубоко, на самом донышке, если специально искать, угадывалось что-то солоноватое, морское — как запах реки. Но это было уже не противно. Это было даже... интересно. Как будто лес стоял на берегу.

Алиса вынула один брусок из формы. Намочила в кружке с водой. Потёрла руки.

Пена была густой, кремовой, плотной. Руки стали гладкими — гладче, чем от обычного мыла. Рыбий жир, оказывается, хорошо смягчал кожу. И пахли руки — лесом.

— Тильда, — сказала Алиса. Голос у неё был хриплым. — Тильда, ты понимаешь, что ты сделала?

Матильда открыла один глаз.

— Получилось? — спросила она слабо.

— Получилось. — Алиса поднесла руки к её лицу. — Понюхай.

Матильда понюхала. И её бледное, измученное лицо вдруг расцвело такой улыбкой, что, казалось, в лавке взошло солнце.

— Лес, — прошептала она.

— Лес, — сказала Алиса. — Тильда, это твой рецепт. Твой. Не мой. Я бы не додумалась до можжевельника со смолой. Я бы опять солью высаливала. Как назовём?

Матильда подумала. Потом ещё подумала. Потом посмотрела на окно, за которым светало, — на крепость над площадью, на синий флаг с белой звездой.

— Северное, — сказала она. — «Северное лесное». Для солдат.

Через три дня первая партия «Северного лесного» — шестьсот брусков — ушла в крепость.

Сержант-интендант Кляйн принимал её лично. Он открыл первый ящик, вынул брусок, понюхал — и его бакенбарды, кажется, встали дыбом. Он понюхал ещё раз. Потом позвал солдата из караульной, велел вымыть руки этим мылом и дать понюхать. Солдат вымыл, дал. Кляйн понюхал. Потом понюхал руки ещё троих солдат. Потом свои.

— Хм, — сказал сержант Кляйн. Это было, как сообщил потом Лорн, первое «хм» в его жизни, которое не означало отказ.

Через неделю солдаты Ворнского гарнизона пахли лесом. Все триста. Капитан Лорн сказал, что, когда весь гарнизон выстраивается на утреннюю поверку, кажется, будто стоишь посреди бора. «Мои ребята теперь ходят в "Тёплый дом" только за тем, чтобы спросить, нельзя ли купить ещё для невест, — смеялся он. — Им невесты говорят, что от них

пахнет, как от лесничих. Им нравится».

А одиннадцать бочек налимьего жира в сарайчике за лавкой — бочек, которые Клом записал в убытки ещё до того, как их привезли, — превратились в самое ценное, что было у «Тёплого дома».

Клом, узнав об этом, долго молчал. Потом достал свою книжечку, нашёл страницу, где было написано «Убытки от рыбного мыла: 2 марки, 7 грошей и репутация всей улицы», — и аккуратно, старательно, одной тонкой чертой вычеркнул слово «убытки».

Сверху надписал: «Вложение».

А ниже, мелко:

«Репутация улицы — восстановлена. Хуго купил три бруска. Для жены. Говорит — после рыбного мыла ему теперь всё нравится».

* * *

Дети пришли в середине января.

Сначала — Флинт со своими пятерыми. Они и так приходили каждый вечер — за кашей, за теплом, за баней в сарайчике, где Гуннар, ворча, грел для них котёл воды. Но в середине января, когда ударили настоящие морозы — такие, что вороны падали с деревьев замёрзшими, а река Лиара встала до самого дна, — Флинт пришёл не с пятерыми.

С двенадцатью.

Потом — с двадцатью.

Они стояли у двери лавки, не решаясь войти. Сироты из-

под моста. Дети нищих из Нижнего квартала. Двое маленьких оборванцев, которых, как выяснилось, мать оставила у собора ещё осенью и больше не вернулась. Девочка лет восьми, в одной рубашке и мужском кафтане до пят, — она держала на руках младенца, завёрнутого в тряпьё, и младенец не плакал, а только тихонько, жалобно скулил.

Алиса стояла в дверях и смотрела на них.

— Хозяйка, — тихо сказал Клом из-под прилавка. — Хозяйка, у нас каши — на шестерых. И дров — на два дня, если всю ночь топить.

— Знаю, — сказала Алиса.

Она отступила от двери.

— Заходите, — сказала она детям. — Все. Быстро. Тепло выпускаете.

Они зашли.

Двадцать детей в лавке размером с хорошую деревенскую избу. Они сидели на лавках, на полу, на прилавке, под прилавком (Клом в ужасе забился в самый дальний угол своего закутка), вокруг печки, жались друг к другу, как замёрзшие воробьи. Матильда металась с половником. Гуннар таскал дрова из сарая. Алиса резала хлеб — тонко-тонко, чтобы хватило всем.

Хватило. Еле-еле.

Потом их мыли. Партиями, по пятеро, в сарайчике за лавкой. Гуннар грел воду. Матильда тёрла. Алиса вычёсывала вшей густым гребнем — у всех были вши, у всех до одного,

— и обрабатывала головы щёлоком с дёгтем. Потом одевала в то, что нашлось: старые рубахи, которые Хильда собрала по соседям, фланелевые обрезки от портянок, свои собственные шали.

Последней мыли девочку с младенцем. Её звали Вета. Младенец был её братом — без имени, мать умерла в родах в октябре. Вета кормила его жёваным хлебом, размоченным в воде. Из реки. Из Лиары. Из-под моста, где стекал кожевенный сток.

Алиса взяла младенца на руки. Он был лёгкий, как котёнок. Горячий. И пелёнки у него были...

— Тильда, — сказала она очень тихо. — Посмотри.

Матильда посмотрела. И побледнела.

— Понос, — сказала она. — Как у Пима весной.

— Как у Пима весной, — повторила Алиса.

Она подняла голову. Посмотрела на детей, сидевших вокруг печки. Двадцать лиц. Худых, бледных, грязных — и уже немного чистых. Она вглядывалась в них. В глаза — блестящие? Мутные? В губы — сухие? Потрескавшиеся?

Двое — нет, трое — держались за животы.

— Флинт, — сказала она. — Откуда вы берёте воду?

Флинт пожал плечами.

— Откуда все, — сказал он. — Из колодцев на Кожевенной. Два колодца. В конце улицы, у Хуговой мастерской. Там близко. А из Лиары — когда колодцы замёрзнут. Сейчас вот замёрзли. Сейчас — из Лиары.

Алиса медленно опустилась на лавку, прижимая к себе горячего младенца.

Кожевенная улица. Колодцы у кожевенной мастерской. Река, куда стекает кожевенный сток.

Где-то в самой глубине сознания, там, где хранились лекции по санитарии и бабушкины рассказы про холеру сорок девятого года, тихо, но отчётливо зазвенел тревожный колокольчик.

* * *

Письмо пришло через два дня.

Тот же солдатик-гонец. Та же шапка до бровей. Тот же вопрос, смущённый, у двери: «А камень можно?»

Алиса дала ему камень. И три бруска «Северного лесного» — для его невесты, о которой он, краснея, упомянул.

Письмо она читала прямо у прилавка. Не дождавшись, пока поднимется наверх. При всех — при Матильде, при Гуннаре, при двадцати детях у печки.

Это письмо было длиннее.

«Леди Лейн.

Слух о вашем мыле дошёл до перевала. Хаузер утверждает, что горцы на прошлой неделе отступили, учуяв запах с подветренной стороны. Мои солдаты интересуются, не новое ли это оружие.

Если да — пришлите бочку. Если нет — всё равно пришлите. Оно пахнет лесом.

Наверх в лавке выведите трубу от печи. Вдоль стены, под

потолком, через обе комнаты. Тепло пойдёт. Так делают в казармах на перевале — иначе спящие наверху замерзают к утру.

Не спите в холоде.

В.».

Восемь строк.

Алиса прочитала их дважды. Потом — третий раз. Потом подняла глаза.

На неё смотрели все. Матильда — с половником в руке и с понимающей улыбкой. Гуннар — у двери, с непроницаемым лицом, но с очень довольными глазами. Двадцать детей у печки — с любопытством. И Клом — из-под прилавка, высунув ушастую голову и вытаращив жёлтые глаза.

— Сколько? — шёпотом спросил кладовик.

— Что — сколько?

— Строк. Сколько строк, хозяйка?

Алиса посмотрела на письмо.

— Восемь, — сказала она.

— Восемь! — Клом выскочил из-под прилавка целиком. — Восемь! Было три! Потом четыре! Потом — три и ещё одна, про меня! А теперь — восемь! — Он схватил свою книжечку и начал лихорадочно писать. — Растёт, хозяйка! Растёт! Это же прирост! Это же почти втрое за два месяца! Если так пойдёт и дальше — к весне будет... будет...

— Клом, — сказала Алиса.

— ...двадцать четыре строки! Целая страница!

— Клом!

Кладовик поднял голову.

— Это деловое письмо, — сказала Алиса как можно строже. — От владельца поместья. Управляющей. По договору.

Клом смотрел на неё. Долго. Его уши медленно опустились — не от огорчения, а от какого-то очень глубокого, очень старого, очень кладовичьего понимания.

— «Не спите в холоде», — процитировал он тихо. — Это — по договору, хозяйка?

Алиса не ответила.

Она сложила письмо. Положила за корсаж. Поднялась наверх — в свою холодную каморку под крышей.

И долго стояла у стены, глядя на то место под потолком, где можно было бы провести трубу от печки. Вдоль стены. Через обе комнаты.

Чтобы не спать в холоде.

Гуннар провёл её на следующий день. Без единого слова. Даже не спросив разрешения. Просто пришёл утром с мотком железных листов, молотком, заклёпками и глиной — и к вечеру под потолком обеих каморок тянулась чёрная гнутая труба, и от неё шло тепло. Ровное, мягкое, сухое тепло. Как от печи с корабликами.

В ту ночь Алиса впервые с ноября спала, не кутаясь в три одеяла.

Ей снился зимний лес. И кто-то шёл по нему — высокий, в тёмном плаще, — и там, где он ступал, снег не замерзал.

Таял.

Глава 5. «Камень для бабушки»

Клом: «Старушки — лучшие покупатели. Платят медью, но каждый день».

Новый год в Ворне праздновали шумно, пьяно и недолго.

Колокола собора звонили всю ночь. На рыночной площади жгли костры, и вокруг них плясали подмастерья, перемазанные сажей. С крепостной стены палили из двух старых пушек — холостыми, для веселья, — и после каждого выстрела где-нибудь в городе вылетало стекло и раздавалась ругань. Пахло жареными колбасками, горячим вином с пряностями, порохом и снегом.

А второго января, в семь утра, в дверь «Тёплого дома» постучал мастер Пельтц.

С ним было шестеро в зелёных кафтанах. С дубинками. С пустой телегой.

— По распоряжению главы ворнского отделения Гильдии торговцев, мастера Корвина Дросса, — проскрипел Пельтц, разворачивая бумагу, — срок, данный леди Алисе Лейн для получения торгового патента, истёк в последний день старого года. Патент не получен. Взнос не уплачен. Рекомендации не представлены. В силу чего весь товар, находящийся в данном помещении, а равно и орудия производства, а равно и...

— Мастер Пельтц, — сказал голос у него за спиной. — Доброе утро. С Новым годом.

Пельтц обернулся.

За его спиной, на ступеньках лавки, стоял капитан Эмрих Лорн. В парадном мундире, с саблей на боку, свежевыбритый, румяный с мороза, улыбающийся. А за Лорном, на площади, выстроившись в два ряда, стояли двенадцать солдат гарнизона. С алебардами. Пахнущие лесом.

— Капитан, — сказал Пельтц, и голос его дрогнул. — Это гильдейское дело. Это...

— Это армейский склад, мастер, — ласково сказал Лорн. — Лавка «Тёплый дом» с прошлого месяца — поставщик Ворнского гарнизона. По хартии тысяча сто девяносто восьмого года. Статья четырнадцатая. Всё, что находится в этом помещении, — армейское имущество. Предназначенное для нужд войска его величества. — Он широко улыбнулся. — Вы ведь не собираетесь конфисковать армейское имущество, мастер Пельтц? Это, знаете ли, называется по-другому. И карается — тоже по-другому. Кажется, виселицей. Но я могу уточнить.

Пельтц посмотрел на двенадцать алебард. На Лорна. На свою пустую телегу.

— Гильдия... — начал он.

— Гильдия, — сказал Лорн, — может подать жалобу. Командующему Северной армией. Его светлости герцогу фон Гранту. На перевал. — Он помолчал. — Я бы на месте Гильдии подумал. Его светлость не очень любит, когда его беспокоят на перевале. В прошлый раз, когда его побеспокоили, у

одного интенданта замёрзли чернила. Вместе с пальцами.

Пельтц свернул бумагу. Очень медленно. Очень аккуратно.

— Я доложу мастеру Дроссу, — сказал он.

— Доложите, — согласился Лорн. — И передайте мои поздравления с Новым годом. И пожелания здоровья. Особенно — бороде.

Пельтц увёл своих людей. Пустая телега скрипела по замёрзшей площади.

Лорн обернулся к двери. Алиса стояла на пороге, кутаясь в шаль.

— С Новым годом, миледи, — сказал он и поклонился. — Простите, что разбудил.

— Вы не разбудили, — сказала Алиса. — Я уже два часа как встала. Камни калила. Капитан... спасибо.

— Не за что, — сказал Лорн. — Мне просто нравится видеть лицо Пельтца, когда он проигрывает. Это лучше любого новогоднего подарка. — Он улыбнулся. — Хотя, если вы настаиваете на благодарности, — я бы не отказался от чашки вашего травяного чая. И, может быть, от разговора. Минут на десять.

Из-под прилавка донеслось очень выразительное покашливание.

Январь был лютым.

Таких морозов, говорили старожилы, не было лет два-

дцать. Лиара промёрзла до дна, и по ней ездили телеги — прямо по льду, от моста до мельниц. Птицы падали с веток. В ратуше замёрзли чернила, и заседание городского совета пришлось отменить. У собора каждое утро находили замёрзших — нищих, пьяниц, бездомных.

И старух.

Старухи пришли в «Тёплый дом» сами. Не сразу — сначала одна, бабушка Грюн с Ткацкой улицы, сгорбленная, как вопросительный знак, с клюкой и в трёх платках. Купила тёплый камень. За два гроша. Отсчитала медяки дрожащими пальцами.

Наутро она пришла снова. Принесла камень — холодный, — сказала, что спала, как в молодости. Попросила раскалить снова. За грош.

Через день пришла с подругой.

Через неделю — очередь стояла с семи утра.

Старухи. Десятки старух. В чёрных платках, в серых платках, в ветхих салопах, в чужих мужских тулупах. С клюками, с корзинками, с узелками, в которых лежали остывшие за ночь камни. Они стояли у двери, переминаясь с ноги на ногу на морозе, — и разговаривали.

Боже, как они разговаривали.

Алиса стояла за прилавком, принимала холодные камни, отдавала горячие, — и слушала. Матильда калила. Гуннар таскал камни из печи. А старухи говорили. Обо всём. О ценах на хлеб — опять подорожал. О дровах — не достать. О

бургомистре Штольце — растолстел, говорят, на казённых харчах так, что в карету не влезает. О Дроссе — злой как чёрт, весь январь орёт на своих гильдейских. О Хольте...

— А про Хольта-то слыхали? — сказала однажды бабушка Грюн, понизив голос, и все старухи в очереди тут же придвинулись ближе. — Суд-то над ним отложили!

Алиса замерла с камнем в руке.

— Как отложили? — спросила она.

— А вот так, милая. — Бабушка Грюн значительно поджала беззубые губы. — Приехал из столицы стряпчий. Важный такой. В бархате. С бумагами. Говорит — Хольта нельзя судить в Ворне. Говорит — он, мол, служил герцогу, а герцог — пэр королевства, значит, и судить должен королевский суд. В Солмаре. А до того — сидеть ему в крепости, а не в ратушной яме. Чтоб с почётом.

— Кто прислал стряпчего?

— А кто ж его знает, милая. — Бабушка Грюн пожала плечами. — Говорят — друзья. Из столицы. Высокие.

«У меня есть покровители в столице. Очень высоко. Выше, чем вы думаете».

Алиса отдала бабушке Грюн горячий камень. Механически. Не глядя.

— Грош, — сказала она.

— Ох, спасибо, милая. — Старуха спрятала камень за пазуху. — А то ведь как? Сноха моя дров жалеет. Говорит — бабка, ты и так своё отжила, нечего на тебя дрова перево-

дить. А с камушком — я сплю. Как в молодости. И ноги не ломит.

Она заковыляла прочь. Следующая старуха протягивала холодный камень.

Алиса взяла его. Подумала: надо написать Валериану. Про стряпчего. Про отложенный суд. Он, наверное, уже знает — Лорн докладывает ему обо всём. Но всё равно надо.

И ещё подумала: старухи — лучшие покупатели. Не потому, что платят. Медью, гроши. А потому, что они знают всё.

Клом, как оказалось, думал то же самое.

— Хозяйка, — сказал он вечером, когда последняя старуха ушла и лавка опустела. — Я завёл новую книжку.

— Ещё одну?

— Ещё одну. — Клом с гордостью показал ей крошечную тетрадочку, сшитую из обрезков бумаги. — «Ведомость сплетен». Кто что сказал, про кого, когда. Сегодня — сорок семь записей. Вчера — тридцать девять. — Он помолчал. — Хозяйка, вы знаете, что жена бургомистра Штольца покупает у аптекаря Брюна ртутные белила? Для лица? А у неё потом зубы выпадают? А аптекарь Брюн за эти белила берёт марку за баночку? А Брюн — член Гильдии аптекарей, а Гильдия аптекарей — дружит с Гильдией торговцев? А Дросс по четвергам ужинает у Брюна?

Алиса смотрела на него.

— Это всё старухи сказали?

— Старухи, — кивнул Клом. — За две недели. По грошу

за камень.

Он погладил свою новую тетрадочку длинными пальцами.

— Платят медью, хозяйка, — сказал он нежно. — Но каждый день.

* * *

Безумного стекольщика Алиса увидела в конце января. На рынке.

Она шла от Хильды — та снова открыла свой лоток после того, как Алиса из первых гарнизонных денег заплатила её штраф, и теперь торговала у неё не только капустой, но и тёплыми камнями, «по-родственному», с армейской бумагой от Лорна, приколотой к лотку для острастки, — и услышала смех. Злой, визгливый, мальчишеский.

У колодца в конце рыночной площади, под голой липой, стояла кучка мальчишек. Пятеро. Лет по двенадцать-тринадцать. Не Флинтовы — Флинтовы были мельче и чумазее. Эти были из мастеровых: в тёплых куртках, в крепких сапогах, румяные, сытые. Они кидали снежки.

В старика.

Старик стоял у самой липы, прижавшись к ней спиной, и закрывался руками. Он был высокий, но такой худой, что казалось — ветер вот-вот переломит его пополам. Седые волосы торчали во все стороны, как у одуванчика, — длинные, спутанные, ни разу, видимо, не знавшие гребня. Борода — такая же, клочьями. Одет он был в длинный, до пят, балахон неопределённого цвета — когда-то, наверное, коричневый,

— весь в пятнах, прожжённых дырах и заплатах. А к балахону, по всей груди, были пришиты — Алиса не поверила глазам — кусочки стекла. Разноцветные. Зелёные, синие, жёлтые, мутно-белые. Они звякали при каждом его движении, как бубенчики.

У ног старика валялся опрокинутый лоток. Деревянный, самодельный. И вокруг, в грязном снегу, рассыпанное — стекло. Флаконы, пузырьки, какие-то кругляши, треугольнички, призмы. Некоторые — разбитые.

— Безумный Олдос! — орали мальчишки. — Безумный Олдос! Покажи, как ты стекло ешь! Покажи, как ты с песком разговариваешь!

Снежок ударил старика в плечо. Стёклышки на балахоне жалобно звякнули. Второй — в голову, в седые волосы. Третий...

— А ну, прекратите! — Алиса сама не узнала свой голос.

Мальчишки обернулись. Увидели девицу в старом плаще, с корзинкой. Переглянулись. Один — самый рослый, с румяной наглой мордой — ухмыльнулся.

— А ты кто такая? Его бабка? — И слепил новый снежок.

Он не успел его бросить.

Потому что из-за спины Алисы, неизвестно откуда, вылетела рыжая молния. Флинт. Он, оказывается, шёл за ней — он теперь часто ходил за ней по городу, «на всякий случай». Рыжая молния врезалась в рослого мальчишку, сбила его с ног, и они покатились по снегу, молотя друг друга кулаками.

— Флинт! — закричала Алиса.

А потом рядом с ней, словно из-под земли, выросли ещё трое. Потом пятеро. Флинтова армия — мелкая, тощая, чумазая, в обносках — но злая, как стая воробьёв, защищающих гнездо.

Мастеровые мальчишки удрали через минуту. Рослый — последним, с разбитым носом, придерживая порванную куртку.

Флинт поднялся из снега. Губа у него опять была разбита. Под глазом наливался синяк. Он вытер нос рукавом и посмотрел на Алису с гордостью.

— Это Курт Мюллер, — сказал он. — Мясников сын. Он всегда к старому Олдосу пристаёт. Он и к нам пристаёт. Я давно хотел ему вмазать.

— Флинт, — сказала Алиса, — нельзя драться.

— Почему? — искренне удивился Флинт. — Вы же сами сказали — за своих заступаются.

Алиса открыла рот. И закрыла.

Флинт, довольный, повернулся к старику:

— Дед, ты живой?

* * *

Старик был живой.

Он сидел на корточках в снегу и собирал своё стекло. Медленно, бережно, дрожащими пальцами — красными, обмороженными, в старых белых рубцах от ожогов. Поднимал каждый осколок, каждый флакончик, подносил к глазам,

разглядывал на свет — и что-то бормотал. Целые клал на лоток. Разбитые — в карман балахона. Тоже бережно.

Алиса опустилась рядом с ним на колени. В снег. Начала собирать.

Старик поднял голову. Глаза у него были неожиданно яркие — светло-голубые, почти прозрачные, как вода в горном ручье. И острые. Совсем не безумные.

— Не трогайте, — сказал он. Голос был хриплым, надтреснутым, но не злым. — Порежетесь. Тут острое.

— Я осторожно, — сказала Алиса.

Он посмотрел на неё внимательнее. Потом на её руки — с красными полосками старых ожогов от щёлока.

— Обжигались, — сказал он. Не вопрос.

— Щёлок, — сказала Алиса. — Я мыло варю.

— А. — Он кивнул, будто это объясняло всё на свете. — А я — стекло. Варил. Когда-то. Олдос Фенн. Мастер-стекольщик. — Он криво усмехнулся. — Бывший мастер. Бывший стекольщик. Нынче — безумный Олдос. Слыхали?

— Слыхала, — сказала Алиса.

— Все слыхали. — Он поднял из снега маленький круглый кусочек стекла — размером с медную монету, гладкий, прозрачный, выпуклый с обеих сторон. Подул на него. Протёр рукавом. — Сорок лет слышат. Сорок лет как безумный.

— Почему? — спросила Алиса.

Олдос Фенн посмотрел на неё. Долго. Пристально. Как будто решал — стоит ли отвечать.

Потом поднялся. Тяжело, опираясь на липу. Стёклышки на балахоне звякнули.

— Потому что я сказал им, — проговорил он, глядя куда-то поверх её головы, на крыши, на шпиль собора, на серое небо, — что стекло не должно быть мутным. Что мутное стекло — это грязное стекло. Что, если очистить песок — промыть, прокалить, просеять, убрать железо, — стекло будет прозрачным. Как вода. Как воздух. Как ничто. Что сквозь такое стекло будет видно всё. — Он помолчал. — Я сварил такое. Один раз. Сорок лет назад. Маленький кусочек. С ладонь. Прозрачный, как утро. Показал Гильдии стекольщиков. Думал — обрадуются.

— А они?

— А они забрали. — Олдос усмехнулся — горько, беззубо. — Сказали — подделка. Сказали — колдовство. Сказали — я украл у кого-то секрет. Мастер Ведекинд сказал — старый, он тогда был ещё молодой. Выгнали из Гильдии. Сломали печь. Запретили варить. А через три года, — он вдруг рассмеялся, хрипло, страшно, — через три года у Ведекинда в мастерской появилось стекло почище, чем у всех. Не такое, как моё. Но почище. Ведекинд разбогател. А я...

Он не договорил. Махнул рукой.

— А я — безумный Олдос, — сказал он. — Продаю на рынке пузырьки. Шлифую линзы. Для часовщиков. Для ювелиров. Для тех, кто плохо видит. Кому они нужны, мои линзы?

Он протянул Алисе маленький круглый кругляш, который только что поднял из снега.

— Вот. Хотите? Даром. За то, что не смеялись.

Алиса взяла линзу. Повертела в пальцах. Холодная. Гладкая. Чистая.

Посмотрела сквозь неё на свою ладонь.

И замерла.

Ладонь выросла. Не в два раза — во много раз. Она видела каждую линию на коже, каждую морщинку, каждую пору. Красные полоски старых ожогов стали широкими, как дороги. Крошечная заноза, которую она не замечала с утра, превратилась в бревно. Под ногтем — она даже не знала, что там грязь, — темнела целая гора.

— Это... — Голос у неё сорвался. — Мастер Олдос, это сколько? Во сколько раз увеличивает?

Олдос посмотрел на неё с удивлением. Впервые, кажется, кто-то спросил его о деле.

— Раз в двадцать, — сказал он. — Может, больше. Я сам шлифовал. Полгода. Песком, потом войлоком, потом — пеплом с маслом. Хорошая линза. Лучшая моя. Только кому она? Часовщику — слишком сильная. Ювелиру — тоже. А больше... — Он пожал плечами.

Двадцать раз. Алиса смотрела сквозь линзу на свою ладонь — и сердце у неё колотилось так, что больно было в груди.

Двадцать раз — это не микроскоп. Даже близко нет. Но

если взять две линзы. Если поставить их одну над другой, в трубке, на правильном расстоянии... Как Левенгук. Как Галилей. Как в школьном учебнике физики, на картинке, которую она разглядывала в седьмом классе.

Тогда можно увидеть...

— Мастер Олдос, — сказала она, — вы можете сделать ещё одну такую? Или сильнее?

Олдос смотрел на неё. Его ярко-голубые глаза вдруг стали очень внимательными. Очень острыми.

— Зачем вам? — спросил он медленно.

Алиса помолчала.

— Затем, что в мире есть вещи, которые слишком маленькие, чтобы их увидеть, — сказала она. — А они есть. И от них болеют. И умирают. И если бы их можно было показать — людям, которые не верят, — может быть, они бы поверили.

Олдос Фенн смотрел на неё. Очень долго. Его худое лицо, заросшее седой щетиной, медленно менялось.

— Сорок лет, — сказал он наконец хрипло, — сорок лет никто не спрашивал меня ни о чём, кроме цены на пузырьки.

Он нагнулся. Поднял свой лоток. Поставил его на руку. Стёклышки на балахоне звякнули.

— Приходите, — сказал он. — В Стекольный тупик. За собором. Последний дом. Там... там не убрано. Но приходите.

Он повернулся и пошёл прочь — высокий, худой, сгорб-

ленный, в звенящем балахоне, — не оборачиваясь.

Алиса стояла у липы, сжимая в ладони холодную линзу.

— Хозяйка, — сказал Флинт, вытирая разбитый нос. — Он правда безумный?

— Нет, — сказала Алиса. — Он просто сорок лет опережал всех остальных.

Вечером в лавке Клом долго разглядывал линзу. Сквозь неё — свою книжечку. Буквы росли, как горы. Клом ахал, охал, подносил линзу к глазу, отодвигал, снова подносил.

— Хозяйка, — сказал он наконец благоговейно. — Тут же видно, где я помарку сделал. Четыре года назад. На странице сорок два. Я думал, никто не заметит.

Потом он посмотрел сквозь линзу на крошку хлеба на прилавке. На каплю воды в кружке. На свою собственную руку.

И вдруг отложил линзу.

— Хозяйка, — сказал он тихо. — А что вы хотите в неё увидеть?

Алиса смотрела в окно. На тёмную рыночную площадь. На Кожевенную улицу, уходящую вниз, к реке. На огоньки в окнах. На тёмную громаду Нижнего квартала за мостом.

— Не знаю, — сказала она. — Пока не знаю, Клом. Но, кажется, скоро узнаю.

* * *

Флинт прибежал в полночь.

Алиса не спала — сидела наверху, в каморке, где теперь было тепло от железной трубы под потолком, и писала письмо Валериану. Про стряпчего из столицы. Про отложенный суд. Про Олдоса и линзу. Про старух. Письмо получалось длинным — она уже исписала полтора листа и с ужасом думала, что Клом устроит ей сцену из-за перерасхода бумаги.

Внизу заколотили в дверь. Отчаянно, кулаками, ногами.

Гуннар открыл раньше, чем она успела спуститься.

На пороге стоял Флинт. Без шапки. Без куртки — в одной рубахе, на лютом январском морозе. Губы у него были синие. Глаза — огромные.

— Вета, — выдохнул он. — Ветин братик. Он... он не дышит почти. И Вета сама... и ещё Мышонок... и Ян с Яной... Они все... они все...

— Что — все? — Алиса схватила его за плечи.

— Животы! — закричал Флинт и вдруг разревелся, по-детски, взахлёб, совсем не как десятилетний вожак уличной банды, а как маленький испуганный мальчик. — Животы у всех! И кровь! Кровью ходят! Под мостом — все! И у Кожевенной — у сапожниковых детей! И у Хуго — младшая! Хозяйка, они все помрут! Все!

Алиса стояла в дверях лавки, держа за плечи плачущего ребёнка.

Кровавый понос. Дети. Зима. Кожевенная улица. Колодцы у мастерской. Река, куда стекает кожевенный сток.

Колокольчик, который звенел у неё в голове уже две неде-

ли, вдруг ударил в полную силу. Как набат.

— Тильда! — крикнула она через плечо. — Кипяти воду! Всю, какая есть! Все котлы! Гуннар — фонарь, плащ, сумку с бинтами и мазью! Соль! Мёд! Чистые тряпки! Клом...

— Да, хозяйка? — Кладовик уже стоял на прилавке, и уши его были прижаты к голове.

— Записывай, — сказала Алиса. — Всех. Каждого больного. Имя. Возраст. Где живёт. Откуда берёт воду. С сегодняшнего дня. Каждого.

Клом посмотрел на неё — и, ни слова не говоря, раскрыл чистую страницу.

Они ушли в Нижний квартал через пятнадцать минут. Алиса, Гуннар, Флинт. Матильда осталась кипятить.

Нижний квартал ночью был похож на преисподнюю. Узкие, кривые улочки, где два человека не разминутся. Покосившиеся дома, налезающие друг на друга, с выступающими верхними этажами, которые почти смыкались над головой, закрывая небо. Снег — грязный, бурый, с потёками помоев. Вонь — кожевенная, отхожая, гнилая. Темнота — только кое-где тлели в окнах лучины.

И звуки.

Из-за стен, из-за дверей, из-за ставен — отовсюду — доносились звуки, от которых у Алисы холодело в груди. Плач. Детский плач. Тонкий, слабый, бессильный. Стоны. Кашель. Чей-то голос, монотонно бормочущий молитву Пламени.

Под мостом, у костра, лежали дети. Флинтовы. Пятеро — на рогожах, на тряпье, на голой земле. Вета сидела у огня, держа на руках брата, и раскачивалась взад-вперёд, взад-вперёд, глядя в пламя пустыми глазами.

Младенец не шевелился.

Алиса опустилась на колени. Взяла его. Прижала ухо к крошечной груди.

Сердце билось. Слабо. Часто. Но билось.

— Живой, — сказала она. — Гуннар — воду. Кипячёную. Соль. Мёд. Ложку.

До рассвета она переходила от одного ребёнка к другому. Поила. Ложка за ложкой. Кипячёная вода с солью и мёдом — та самая, бабушкина, которой весной отпаивали Пима. Флинт держал фонарь. Гуннар носил воду — из лавки, где Матильда кипятила котёл за котлом, — бегом, по морозу, через весь город, туда и обратно.

К рассвету под мостом стало тише. Младенец Веты пискнул — слабо, жалобно, но пискнул — и проглотил ложку. Мышонок — самый маленький, пятилетний — уснул, и сон его был спокойнее. Ян и Яна, близнецы, лежали, обнявшись, и уже не стонали.

Алиса сидела у костра, обхватив колени руками. У неё дрожали руки. Не от холода — от усталости. Голова кружилась.

Рассвет поднимался над Лиарой — серый, мутный, морозный.

А потом из-за угла выбежал мальчишка. Не Флинтов. Чужой. Лет восьми. С Кожевенной.

— Тётенька! — крикнул он. — Тётенька, вы та, которая лечит? Из «Тёплого дома»? Пойдёмте! У сапожника Ганса — двое! И у Хуго! И у Брандтов! И у вдовы Кох!

Алиса медленно подняла голову.

— Сколько? — спросила она.

Мальчишка начал загибать пальцы. Сбился. Начал снова.

Клом в своей книжечке, которую Алиса потом прочитала, записал так:

«Первая ночь. Нижний квартал. Под мостом — пятеро. Кожевенная — сапожник Ганс, двое. Кожевник Хуго, младшая дочь. Брандты, трое. Вдова Кох, сын.

Итого к утру — двенадцать.

Воду берут — колодцы на Кожевенной. Оба. И Лиара — у стока.

Хозяйка не спала».

Глава 6. «Настойка от живота»

Клом: «Записывать нечего. Покупателей нет».

Через три дня больных было тридцать четыре.

Через пять — пятьдесят один.

Через неделю Клом перестал вести счёт в своей книжечке и завёл отдельную тетрадь — толстую, из настоящей бумаги, купленной у писаря при ратуше за целую марку. Клом отдал марку без единого слова. Это пугало больше, чем всё остальное.

Тетрадь называлась просто: «Больные». И в ней было три графы. Первая — «Кто». Вторая — «Где». Третья — «Вода».

Четвёртую графу Клом завёл на шестой день. Он не хотел. Он долго сидел над тетрадью, держа грифель в длинных пальцах, и не писал. Потом всё-таки провёл черту и надписал сверху мелкими дрожащими буквами:

«Ушли в Пламя».

Первым в эту графу попал младший Брандт. Три года. С Кожевенной улицы, из дома рядом с мастерской Хуго. Алиса пришла к Брандтам на второй день — и опоздала. Мать уже обмывала маленькое тельце в корыте, тихо, монотонно напевая что-то без слов, и даже не подняла головы, когда Алиса вошла.

Вторым — дед Шмуль, старый сапожник, который жил над своей мастерской на углу. Ему было за восемьдесят. Он

не болел никогда в жизни. Заболел в понедельник. В среду его не стало.

Третьей — девочка из-под моста. Флинтова. Лиска, шести лет. Она лежала на рогоже у костра, такая маленькая и лёгкая, что казалось — ветер может унести её вместе с рогожей. Алиса поила её всю ночь. По ложке. Каждые несколько минут. А под утро Лиска открыла глаза, посмотрела на Алису ясно и спокойно, сказала: «Тётенька, а у вас камушки тёплые», — и закрыла их.

Флинт не плакал. Он сидел рядом, держал Лискину руку и смотрел на реку. А потом встал, ушёл куда-то под мост и вернулся через час с разбитыми костяшками на обеих руках. Ни Алиса, ни Гуннар не спросили, обо что.

Город заболел весь.

Не сразу — сначала только Кожевенная улица и Нижний квартал. Потом — улицы, прилегающие к рыночной площади. Потом — Ткацкая. Потом — дома у собора. Болезнь ползла по Ворну, как вода по трещинам в стене: медленно, неумолимо, находя каждую щель.

Аптекари торговали.

Алиса впервые увидела аптеку мастера Брюна на четвёртый день эпидемии. Она проходила мимо — бежала от сапожника Ганса к вдове Кох с сумкой, полной чистых тряпок и бутылей с кипячёной водой, — и остановилась, потому что не могла не остановиться.

Аптека стояла на углу соборной площади, в самом дорогом месте Ворна. Двухэтажный каменный дом с резными наличниками, с вывеской в виде золотой ступки с пестиком. В окнах — пузатые стеклянные сосуды с разноцветными жидкостями: красной, зелёной, синей, золотой. Они светились в морозном солнце, как драгоценные камни. Над дверью висел медный колокольчик — побольше и поважнее, чем у «Тёплого дома».

А у двери стояла очередь.

Длинная — человек сорок. Женщины в платках. Мужчины в тулупах. Старики. Все с бледными, испуганными лицами. Все с кошелями, узелками, медяками в кулаках.

На двери аптеки была приколочена дощечка. На ней — красивыми, витыми буквами, с завитушками:

«ЦЕЛЕБНЫЕ КАПЛИ МАСТЕРА БРЮНА ОТ ЖИВОТА, ЛИХОРАДКИ И МОРОВОЙ ПОРЧИ. ПРОВЕРЕНО. ОДНА МАРКА ЗА ФЛАКОН».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.